[Polaris]

Михаил Раскатов

КОШМАРЫ

Рассказы

POLARIS

ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CXLVIII

Salamandra P.V.V.

Михаил
РАСКАТОВ

КОШМАРЫ

Рассказы

Salamandra P.V.V.

Раскатов М. (Асс М. М.)

Кошмары: Рассказы. Сост. и прим. М. Фоменко. – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2016. – 95 с. (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CXLVIII).

Михаил Раскатов (М. М. Асс) известен как автор некогда популярных романов о «благородном разбойнике» Антоне Кречете. Менее известно то, что писатель сочинял также рассказы ужасов и фантастические истории. В книге целиком воспроизведен сборник рассказов Раскатова «Кошмары» (1917) с приложением некоторых рассказов из периодики 1900-1930-х годов. Все включенные в книгу произведения переиздаются впервые.

© M. Fomenko, состав, подг. текста, прим., 2016
© Salamandra P.V.V., оформление, 2016

КОШМАРЫ

М. Раскатовъ.

КОШМАРЫ

РАЗСКАЗЫ.

I-ый Выпускъ.

ПЕТРОГРАДЪ.
Изданіе С. Самойлова.

ЧЕЛОВЕК И СОБАКА

I.

Это был громадный датский дог, белый в темных пятнах, сухой, высокий, со стальными ногами, с мускулистой широкой грудью, огромной головой, отвислыми тяжелыми губами и могучими всесокрушающими челюстями.

Буром звал его только хозяин, клоун Павел Теплов. В цирке же он был известен под кличкой Сципио, точно так же, как его хозяин, под именем Пауло Теплетти. И как хозяин признавал оба имени, собака признавала обе клички.

История же Бура была довольно обычной собачьей историей.

Когда-то в небольшом южном городке, где гостил бродячий цирк, за Тепловым, возвращавшимся ночью из цирка в гостиницу, увязался щенок. Щенок шел за человеком в почтительном отдалении, но шел, несомненно, за ним, потому что ни одной живой души больше не было на пустынной улице.

Шел щенок словно бы по своему делу и думал словно бы только о своих щенячьих делах, но около одного фонаря человек оглянулся и, внимательней посмотрев, увидел, что щенок худ, заморен, припадает на одну ногу, и глаза у него печально-голодные...

Тогда человек остановился. Щенок тоже остановился. Человек пошел щенку навстречу, щенок пополз назад. Человек щенка настиг, щенок грозно оскалил зубы.

Сказались нелюдимость и свободолюбие породы и

гордость существа, привыкшего быть одиноким.

Человек, однако, оказался сильнее и отнес щенка к себе.

Было это во время англо-бурской войны и, хотя Теплов в ней участия не принимал, щенку была дана кличка: Бур.

Но ни на кличку, ни на ласку щенок в течение целых двух недель не шел. Он не бросался на человека, но не выказывал ни малейшего желания стать с ним на короткую ногу. Он допускал, так сказать, существование человека, может быть, даже ничего против него не имел, но попросту не хотел с ним якшаться. Он молча пожирал свою овсянку, потом забирался под кровать и лежал там, о чем-то сосредоточенно думая.

Только раз в течение этих двух недель он обнаружил некоторую живость. В номер в отсутствие Теплова зашел коридорный и положил на стол письмо. Щенок, не шевелясь, смотрел. Но когда коридорный повернулся, чтоб выйти, щенок лениво вылез из-под кровати, впился своими молодыми зубами коридорному в штаны и не разжимал уже зубов, несмотря на сыпавшиеся на него градом колотушки. Вероятно, ему показалось, что коридорный, заходя в незапертую комнату, попирает чьи-то права, и он встал на их защиту. Так коридорный и ушел с оторванным низом одной из штанин.

Это обстоятельство дало, между прочим, Теплову повод заподозрить, что в его четвероногом питомце, помимо крови его породы, есть еще порядочная примесь крови настоящего английского мастифа.

Поступок, впрочем, ни на йоту не приблизил щенка к человеку. Щенок продолжал глядеть угрюмо и с недоверием.

Но по прошествии двух недель случилось как-то

так, что человек раз наклонился к щенку ниже обыкновенного и щенок близко, близко заглянул человеку в глаза.

Глаза у человека оказались мягкими и очень добрыми, и щенок изумился. Он никак, видно, ее ожидал этого. Он оскалил зубы и засмеялся. Потом посмотрел в человеческие глаза еще раз. Положительно, глаза были такие, что не хватало собачьей возможности не попробовать их языком. И щенок лизнул человека в глаза, потом положил ему голову на колени и в первый раз его сухой хвост зашевелился, стукнул, как палкой, по стулу, и стул сковырнулся па сторону.

С этого дня завязалась между клоуном и его собакой прочная дружба.

II.

Польза от этой дружбы сказалась вскоре для обоих.

Спустя три месяца умственный горизонт Бура страшно расширился. Он уже понимал, что обручи, заклеенные китайской бумагой, не белые стены, о которые можно разбить голову, что стоит только коснуться их лапами, как бумага разрывается в клочья, и тогда нет ничего легче, как прыгать через них. Он понимал еще, что если на полу разложены большие куски картона с цифрами, то надо вынимать те из них, на которые человек указывает глазами.

Вообще, человеческие глаза говорят необыкновенно понятно и не фокус угадывать их волю.

Бур обладал еще от природы небольшой дозой юмора, правда, немного мрачного, но от этого его юмор приобретал особую терпкость.

Павел Теплов часто проделывал такой номер на арене. В своем широчайшем разноцветном платье, похожем на разрезанный снизу мешок, с гигантской рюшью кругом шеи и в остроконечном, усеянном сусальными звездами колпаке, с лицом и шеей, густо покрытыми белилами, и губами, выкрашенными кармином, — он брал гитару и, закинув назад голову, подыгрывал себе и пел... И когда он закидывал голову, его голос становился похожим на скрип колес целого чумацкого обоза.

Тогда Бур подходил к нему, спокойно брал его за платье зубами сзади пониже спины и, несмотря на отчаянные протесты, выволакивал его за кулисы, как вещь, пришедшую в негодность.

Номер этот варьировался, и иногда Бур сам убегал с арены, убегал мелкой рысцой, поджав хвост, с низко понуренной головой и с выраженьем большой скорби в глазах, словом, как существо, оскорбленное в лучших своих чувствах.

И как то, так и другое вызывало гомерический хохот.

Вообще, с приобретением собаки Павел Теплов стал кататься, как сыр в масле. Жалованье его удвоилось, а вместе с тем увеличился и его досуг. Номера с собакой значительно сокращали его собственные номера.

Но и вне цирка он с собакой редко разлучался.

В обычное время Бур был степенен, медлителен, молчалив и занят своими мыслями. Он вообще много думал. Может быть, это происходило от того, что он не имел товарищей и не искал их, а одиночество, как известно, настраивает на философский лад.

Крупный ньюфаундленд-аристократ, который захотел с ним раз ближе познакомиться, мгновенно очутился на земле. Бур не тронул его, он только положил на

него свои лапы и посмотрел кругом с таким выражением, словно хотел сказать:

— Да уберите же, ради Бога, поскорей от меня эту дрянь... Она мне мешает!..

Бур ни на кого сам не нападал, никого не задевал, ни в какие чужие дела не вмешивался, но и не любил, чтобы ему мешали. Впрочем, это случалось очень редко, так как наружность его внушала к себе слишком большое почтение, такое почтение, что когда он весной одаривал вдруг своим вниманием какую-нибудь красавицу, за которой тянулся уже длинный хвост, — хвост отпадал, а красавица переставала упрямиться.

К хозяину собака относилась хорошо, но с едва заметной примесью легкого благодушного презрения, как к доброму, но слабому существу, которое неустанно требует бдительных собачьих забот.

Про себя Бур, вероятно, часто недоумевал, как это Теплов мог жить до него без посторонней помощи.

Теплов по ночам возвращался иногда домой пьяный, как стелька. Тогда он брал на себя только труд взбираться по лестнице, но ложился, где попало, большей частью на площадке перед дверью или в коридоре.

Бур знал эту его странную повадку и вот тогда и наступало для него самое хлопотливое время. По лестнице ходили люди и по коридору шмыгали люди, и от всех этих людей, врагов — как Бур хорошо знал — нужно было хозяина оберечь. Лучшее, что можно было сделать, это втащить хозяина в номер, но в пьяном виде тот становился бесконечно тяжелее, чем в цирке, и тащить становилось очень неудобно, тем более, что хозяин всегда обнаруживал в таких случаях стремленье биться головой о пол, о стены, о порог...

Бур после целого ряда опытов нашел способ: он

попросту вытягивался рядом с бесчувственным телом и тогда почему-то люди сразу переставали шмыгать и по лестнице, и по коридору. Теплов мог бы спокойно спать двое-трое суток и двое-трое суток место было бы непроходимым.

Один из младших швейцаров, силач и озорник, попробовавши было раз подойти к Теплову ближе, чем все подходили, все-таки не дошел, когда собака встала, ощетинившись, и улыбнулась во весь рот, показав все клыки. Он не вынес этой улыбки и, остановившись, сделал вид, что и не собирался подойти, а хотел только взглянуть в окно. И Бур, очень дипломатичный по натуре, мгновенно же улегся и тоже сделал вид, что если сам он встал только что, то так себе, без всяких умыслов...

Словом, Бур, угрюмо ворча, как добрая нянька, часто даже негодуя, неослабно держал за человеком надзор.

III.

Всюду, где Теплов останавливался, он занимал обыкновенно две комнаты. Одна превращалась в гимнастический зал, где стояли различной вышины барьеры, обручи, всякие орудия ремесла, спускались с потолка широкие кольца, и там происходили упражнения. В другой комнате он спал, и тут в ногах кровати на коврике спал Бур.

Было, однако, в жизни Бура несколько моментов, когда он оставлял свое постоянное место на коврике, уступая обстоятельствам.

Раз это произошло ранней весной, когда впервые должна была выступить перед публикой новая артист-

ка, вольтижерка на лошади, мисс Алиса.

Теплов в первый раз увидел ее на репетиции.

В обширном зале цирка только кое-где мерцали лампы. Пахло конюшней. Амфитеатр со своими пустыми рядами стульев, подымаясь все выше и выше, уходил в темноту, теряясь под самым куполом. Ниже неясно виднелись трапеции, нити проволок, тянувшихся в разные стороны, темная масса собранной сетки и разукрашенная красным сукном маленькая будочка, прикрепленная к двум мачтам на половине их вышины. Только в самом низу отчетливо выступал огромный, мутновато-желтый круг песка, посыпанный опилками.

Репетиция приходила к концу. Артисты, покончившие со своими упражнениями, расходились. Остались еще семья гимнастов и молодая девушка в телесного цвета трико, с тонкими обнаженными руками, выступавшими из легкой, как воздух, шелковой безрукавки.

Она стояла на широком барьере около прохода, а в самом проходе два конюха держали под уздцы черную, как вороново крыло, лошадь, оседланную громадным плоским седлом, походившим на платформу.

Лошадь фыркала и в нетерпении рыла копытами песок, косясь на девушку умными темно-карими глазами, а девушка ласково трепала ее по шее и, очевидно, дожидалась, когда служители кончат свое дело.

У нее было бледно-матовое лицо с огромными синими глазами и пушистые золотые волосы, скрученные сзади в тяжелый жгут. Фигура у нее была тонкая и гибкая, и грациозные полудетские формы придавали ей особое очарование нежности, слабости и хрупкости, ту воздушность, которую синьор Кахито, старый директор цирка, считал лучшим качеством цир-

ковой артистки.

Теплов дождался конца репетиции и, когда мисс Алиса спрыгнула с седла, он подхватил ее и поддержал, и на секунду ощутил теплоту ее разгоряченного тела...

После этого он шел по улице и глубоко дышал всей грудью; и улица сделалась для него необыкновенной и пешеходы необыкновенными. И дома он трогал кольца, брал в руки то одно, то другое, бросал, ходил в томлении из угла в угол, и странная тающая улыбка не покидала его лица.

— Бур!.. что это со мной?

Он садился на корточки перед собакой, и собака видела его сияющие глаза.

— Бур! Почему я так счастлив?.. Бур?..

И Бур, который хорошо знал, что такое весна, снисходительно усмехался: он знал, почему.

Он так хорошо знал это, что в первый вечер, когда мисс Алиса осталась у Теплова в комнате, он угрюмо поднялся и потащился в другую комнату, прихватив с собой и коврик, на котором спал.

И вплоть до лета Бур спал один.

Но, когда наступило лето, мисс Алиса перестала являться, и Бур занял свое старое место.

Все пошло как будто по старому, по не совсем.

Теплов ходил тоскующий, с измученным лицом. Цирк не уезжал и мисс Алиса не уезжала, но что-то случилось. Бур долго не мог понять, что именно. Смутная догадка мелькнула у него раз, когда кончилась репетиция и Теплов и мисс Алиса остались с глазу на глаз на опустевшей арене.

Все огни были потушены. Амфитеатр, стены и куполь, таинственные сооружения для гимнастов, — все тонуло в сероватом полумраке. Только на темном пес-

ке арены лежали яркие пятна от полосы солнечного света, прокравшегося откуда-то сквозь щель. Эта полоса шла из глубины косым и дрожащим золотым столбом и вырывала из полумрака два лица, оба взволнованных и бледных.

Люди говорили сначала тихо, потом стали говорить громче, все громче и громче, пока говор не перешел с одной стороны в крики, а с другой в плач.

Плакал, однако, мужчина.

Странно это было... Никогда Бур не думал, чтоб его хозяин мог быть таким малодушным. Он знал, что когда сам добивался чего-нибудь, любви ли, другого, он поступал гораздо проще. И теперь он захотел дать человеку мудрый совет.

Оскалив зубы, он вскинул женщине на грудь свои лапы и повернул к хозяину морду: «Вот, мол, мой способ!.. Попробуй!»

Но человек этот способ отверг.

В тот же день поздно вечером мисс Алиса гуляла с наездником Рикардо по пустынной аллее городского сада, а Теплов крался за ними, ежеминутно прячась за деревья. Что хотел сделать Теплов — трудно сказать, но, когда Рикардо заметил его, он бросился на него с ножом.

Бур был тут же, и это движение Буру не понравилось. Он вообще ни в ком не любил большой стремительности... Он свалил Рикардо наземь, разорвал на нем все, что можно было разорвать, искусал ему руки, ноги, грудь, лицо и, не загрызши его до смерти, так как Теплов этого не хотел, спокойной рысцой побежал за человеком, единственным, чья воля имела для него какое-нибудь значение.

Мисс Алиса все-таки к Теплову не вернулась, но не вернулась и к искусанному наезднику, потому что жен-

щины не любят, когда мужчина в их присутствии играет жалкую роль.

Так кончилось первое крупное увлечение человека и сопряженные с этим непрерывные хлопоты и заботы собаки...

Вторично Бур оставил свое место на коврике спустя три года.

Тут любовь человека разыгралась иначе. Это было не увлечение, это было большое и сильное, настоящее чувство. Теплов полюбил маленькую итальянку-танцовщицу, участвовавшую в цирковых феериях.

Она была худенькая, как Алиса, но без ее темперамента, кроткая, слабая и болезненная... И ужасно было, что лишь только Теплов на ней женился, она стала день ото дня таять... Она блекла, как оранжерейный цветок, лишенный теплицы.

Все свои сбережения, все свои подарки Теплов отдал врачам и аптекам, но ни врачи, ни аптеки ее могли ее спасти. И в один прекрасный день она закрыла свои большие, кроткие глаза и не открыла их больше.

Целый месяц после ее похорон Теплов пил мертвую, и собаке было очень много с ним возни. Но, спустя месяц, человек пришел немного в себя. И в тот день, когда это сделалось с ним, поседевший и облысевший, он обнял собаку и заплакал обильными слезами.

— Бур, — бормотал он, покрывая поцелуями собачью морду, — какие мы с тобой старые... Господи... Какие старые... Какие одинокие!..

И Бур не мешал ему и смотрел на него грустно-ободряюще, словно хотел сказать:

— От тебя несет водкой, запаха которой я не переношу, и ты пачкаешь меня слюной и слезами...! Но

ничего... Если тебе от этого легче, продолжай. Не стесняйся, сделай милость!..

IV.

Дружба между человеком и собакой сделалась еще крепче. Те бури, которые раньше налетали, вторгались между ними и делали их интересы неодинаковыми, теперь не мешали уж больше. Пора бурь миновала. Оба были одиноки, одиноко старились и с каждым днем чувствовали, что связь между ними делается сильнее.

Бур не покидал уж своего коврика, и человек не мог заснуть, если на коврике не было Бура.

Это была глубокая, трогательная, мучительная привязанность двух существ, из которых одно никогда не имело друзей или близких своей породы, а другое своими друзьями и близкими давно было брошено. Они научились понимать друг друга по одному какому-нибудь движению, по взгляду.

Чтобы долго не быть одному без другого, оба шли на уступки: Бур научился спокойно лежать в трактирах под стулом своего хозяина и никого не хватать за ноги. Теплов перестал пропадать по ночам.

Теплов все больше седел и лысел, все больше делался угрюмым, неуживчивым и нелюдимым, уходил в себя и, кроме собаки, никому уж не поверял своих мыслей...

Бур тоже все меньше проявлял живости, все больше углублялся в себя и единственный оплот свой видел в человеке.

Часто он глубоко заглядывал в человеческие гла-

за, которые сделались такими смертельно усталыми, и думал:

— Это существо мне слишком дорого, оттого, вероятно, я и делаюсь таким скучным... Чтобы хорошо жить, нужно быть свободным от всяких чувств... Я уж знаю, это не поведет к добру!,.

Человек глядел на собаку и в свою очередь думал:

— Ему уже десять лет... Целых десять!.. Что будет со мною, когда его не станет?..

И иногда его охватывал ужас. Ему начинало казаться, что Бур теряет уже все: ум, понятливость, гибкость, саму жизнь. Этот ужас чаще всего охватывал его по ночам, когда его мучила бессонница. Тогда он вскакивал, бросался к Буру, будил его, зажигал все лампы и в одном белье начинал проделывать с собакой упражнение.

— Гип-гоп! — кричал он диким голосом, подставляя Буру обручи. — Гип-гоп, Сципио... Алло!..

И собака тихонько взвизгивала, как всегда перед упражнениями, царапала пол когтями, готовясь к прыжку, и прыгала...

— Гип-гоп! — кричал Теплов, взъерошенный и в поту, — гип-гоп... Ты такой же, как был... Гип-гоп... Спасибо тебе... Гип-гоп... Ты никогда не умрешь!..

И старый жонглер Лохов, занимавший номер рядом с Тепловым, каждый раз наутро жаловался:

— Дружище, ночь создана для сна... Что за сумасшедшие мысли приходят тебе в голову!

V.

Но Бур дряхлел. Про себя он это хорошо знал.

Морда его все больше белела. Что-то делалось с его телом такое, что оно тяжелело и лишалось силы. Ему уже тяжело было быстро бежать,— он задыхался. Он уже не сразу перекусывал кость. Скакать он начал неуклюже, и длинный ряд упражнений его утомлял. Вообще, все гайки, так тесно и плотно свинчивавшие его могучие части, расшатались.

Раз ему встретилась меделянка, и он подумал про себя, что если та его заденет, придется, пожалуй, уступить дорогу.

Меделянка, занятая своим делом, прошла мимо, не взглянув даже, и это тоже было жестокой обидой. Но Бур ее стерпел.

А месяц спустя разыгралась трагедия.

На Бура налетели две гончие, заподозрив его в том, что он, старик, захотел отбить у них даму. К гончим присоединилась одна лайка и громадная дворняга-полуовчарка. Присоединились еще несколько собак, и все, хрипя от ярости, сбились в кучу.

Теплова около не было.

Дыбом стала у Бура шерсть на загривке, и глаза налились кровью... Когда-то он разбросал бы, вероятно, всех, но теперь он чувствовал, что эта борьба будет его последней борьбой. Он оскалил свои страшные клыки и отшвырнул гончих, как щенят, он успел еще свалить лайку, но для громадной полуовчарки и для остальных собак у него не хватило уже сил.

И он упал на землю и лежал, чувствуя, как старое его тело рвут в клочья, до тех пор, пока не сбежались люди и не разлили всех водой.

Тогда Бур поднялся, взлохмаченный, окровавленный, дрожащий, какой-то выгорбившийся и сразу похудевший, и пополз домой... Силы его все падали, и несколько раз по дороге он останавливался, чтобы сно-

ва не растянуться. Но дополз, ткнул головой дверь, вполз, лег на свой коврик у кровати и прикрыл лапами морду.

Случилось это с ним на обычной утренней прогулке, — время, когда Теплов обыкновенно еще спал.

Но теперь, когда Бур так странно тихо вполз и лег, — Теплов сразу открыл глаза и кубарем скатился с постели.

— Бур!..

Лицо у старого клоуна побелело и запрыгало.

— Бур... что с тобой?

Бур услышал человеческий голос, единственный человеческий голос, который он любил, и слабо шевельнул хвостом; потом, превозмогая себя, с трудом приподнял истерзанную голову и взглянул остекленевшими, замутившимися глазами.

Его взгляд сказал:

— Дружище, дело мое кончено!..

— Бур!..

Теплов ползал на коленях перед собакой и то прижимал ее к себе, то поддерживал ее никнувшую голову и сердце его колотилось, и он все не мог понять, что это случилось... за что?..

— Я сейчас, Бур... Я все сделаю... все... все... — бессмысленно бормотал он.

И он поднялся и бурей влетел к жонглеру.

— Лохов... Бур умирает... Лохов, ступайте к нему... сидите около... я сейчас... в одну минуту...

И Теплов, как был, без пальто и шапки, побежал по улице.

Целый час он пропадал, пока нашел такого ветеринара, который согласился тут же с ним поехать... Но нашел...

Было, однако, поздно.

— Гм... Пауло... твоя собачка...— встретил его Лохов, бледный и избегая смотреть...

— Что собачка?..

Теплов схватил жонглера за горло...

— Что собачка? — повторил он хрипло, со вздувшимися жилами.

— Пусти... Пусти, ты меня задушишь... Твоя собачка... твоя собачка...

Бур издох, и Лохов заблаговременно распорядился, чтобы труп собаки унесли.

VI.

Что делал весь этот день Теплов в своих опустевших комнатах, было неизвестно. Но под вечер он зашел вдруг к Лохову, сел за его стол и, тускло посмотрев, задал вопрос, который поставил жонглера в тупик.

— Как ты думаешь, старик, бессмертна душа или нет?

Спрашивал Теплов тихо, но озабоченно, видимо, сильно интересуясь ответом.

— Гм... Пауло.. видишь ли... я не очень много думал об этом в своей жизни...

— Нет... Все-таки?

— Гмм... говорят, бессмертна, то есть, опять-таки, я имею в виду человеческую душу... Понимай меня, как следует, Пауло...

— Молчи, дурак! — с бешенством крикнул Теплов и ударил рукой по столу. — Это все равно...

— Ты думаешь?.. — пролепетал Лохов, отодвигаясь.

— Говорю тебе, это все равно!..

Теплов сморщил лоб и сказал, подняв палец:

— Слушай, было так: когда-то один человек бросился на меня, чтоб убить, а случившаяся тут же собака спасла меня... Так если бы ты был судьею, кому из них ты присудил бы бессмертие?

Глаза Теплова, круглые и мутные, смотрели пристально, но вряд ли что-либо видели, и у Лохова почему-то мурашки забегали по телу.

— Н-не знаю! — сказал он, отводя взгляд.

— Не знаешь? —заревел Теплов и вскочил. — Так ты не знаешь?.. Так вот же... Переступи порог моей комнаты и она явится по моему зову и загрызет тебя... Притворщик!..

И он выбежал, хлопнув дверью...

Лохов остался в тревоге.

Было очевидно, что старый клоун болен и нуждается во враче и в уходе... Между тем, он заперся, и проникнуть к нему стало невозможным...

Слышно было, как он метался и, не переставая, что-то бормотал, то ласково, то умоляюще, то повелительно и грозно... Это продолжалось очень долго, и под тяжелый лихорадочный шепот Лохов заснул.

Проснулся он среди ночи и сразу в перепуге вскочил с постели. За стеной творилось что-то невообразимое. Теплов, видимо, окончательно обезумел.

Он кричал, надрываясь:

— Бур... Чертов пес!.. Что ты топчешься на одном месте? Алло-гип...! Скачи же, разжиревшая скотина!.. Ну... гоп-гип!...

Лохов выбежал в коридор. Там был уже народ: жильцы, выскочившие из своих комнат, коридорныѳ, дворники со двора. На стуки в дверь Теплов не обращал ни малейшего внимания... Может быть, он даже не слышал их...

— Скачи же, или я тебя прогоню, негодное живот-

ное... Ну... Алло-гип!.. Что ты уставился на меня?.. Ну!.. *Если ты уж пришел,* я тебя заставлю скакать!.. Гип-гоп!.. Ну!..

Дверь решили взломать...

— Наваливайся! — крикнул кто-то, и все подступили к двери.

Вдруг Лохов задрожал от дикого ужаса, и волосы на его голове поднялись дыбом...

— Алло-гип! — отчаянно и хрипло, из последних сил, крикнул Теплов. — Алло-гип... Говорю тебе в последний раз, Бур!.. Ну!..

И Лохов, белый, как мука, услышал знакомое повизгиванье, царапанье тупых когтей о пол и грузные прыжки отяжелевшего, сделавшегося неуклюжим тела...

Что происходило в эту минуту в комнате, так никогда и не было узнано, потому что, когда, после долгих усилий, взломали наконец дверь, — старый клоун лежал на полу мертвый...

Лохов, однако, говорил впоследствии, что он мог бы поклясться, что в ту минуту, когда дверь отлетела, спускавшиеся с потолка тяжелые и огромные кольца, через которые собака обыкновенно прыгала, еще шевелились, недавно кем-то задетые...

ДЕВЯТЬ ПАЛЬЦЕВ

I.

...Я, Пер Янсен, знавший Анну очень близко, всегда думал, что над Анной тяготеет рок, ибо есть лица, которые говорят наблюдателю больше, чем линии рук. Всеми своими чертами, изломами губ, таинственными точками, вспыхивающими в глубине глаз, они неустанно говорят о трагедии, которая неминуемо должна совершиться, хотя бы в ту минуту, когда вы наблюдали лицо, оно улыбалось.

У Анны было такое лицо — и над ней тяготел рок... По крайней мере, до тех пор, пока в дело не вмешался серьезный, рассудительный и справедливый человек.

Теперь я расскажу то, что мне частью удалось узнать от Анны же, частью же — чего я сам был свидетелем.

Год тому назад муж Анны, Павел Иост, вернувшись раз вечером из ресторана, позвал Анну к себе, запер за ней дверь на ключ, ключ положил к себе в карман и сказал ей спокойно, как всегда говорил обо всем, чего бы это ни касалось:

— Анна, у нас три девочки и мне хорошо известно теперь, что вряд ли даже одна из них моя. Ты изменяла мне с первого дня замужества. Это нечестно, Анна. Признаюсь тебе, что первой моей мыслью было убить тебя, но теперь я раздумал. Видишь ли, я хорошо знаю, что правды ты мне никогда не скажешь, ибо ты вся начинена ложью. Ложь — не только твои слова, ложь — твои движенья, ложь то, как ты смотришь... Это уж натура, Анна, и я даже не виню тебя...

И мне пришло в голову, что если ты умрешь, а я останусь жить, я ведь так никогда и не узнаю, есть ли среди девочек хоть одна моя, и если есть, то какая? Тогда я решил, Анна, сам умереть, ибо если в этой жизни мне не суждено ничего узнать, то в *той* жизни я уж наверняка все узнаю — и сейчас же, лишь только закрою глаза. И я так сделаю!

Анна стояла прямо против Иоста. Она не спорила, не защищалась, она только не сводила тусклого взгляда с его длинного серого лица, стараясь понять, серьезно говорит Иост или нет.

А тот продолжал так же спокойно, как начал, словно бы речь шла о совершеннейшем пустяке, вроде как выпить стакан грога или переменить сорочку:

— Я это сделаю через десять минут — и никакой черт мне не сможет помешать... Через десять миут, Анна, я уж буду смотреть на тебя *оттуда* и *все* знать... Мне жаль, что ты еще не веришь мне и, может быть, про себя смеешься... Посмотри мне хорошенько в глаза — и ты поймешь, что это не болтовня!.. Анна!

Анна не двигалась.

— А знаешь ли ты, Анна, что я сделаю потом?

Анна не ответила.

Тогда его длинное серое лицо, такое всегда тяжелое и неподвижное, стало медленно краснеть, как накаляемое изнутри железо, на шее и на лбу затрепетали жилы, страшный шрам, который шел у него через всю левую щеку, вздулся, обмяк и налился кровью, а маленькие зеленые глаза сделались еще меньше и превратились в две нестерпимо яркие, неподвижные и лучистые точки.

Анна в первый раз видела Иоста таким и поняла, сколько злобы и ненависти было в нем в эту пору.

— Видишь ли ты, Анна, эти пальцы? — тихо, но от-

четливо спросил он, не сводя с нее пристального и тяжелого взгляда. — Посмотри на них, Анна!.. Вот этими пальцами, мертвый, я передушу всех, кроме моей, ибо мертвый я буду уже знать, какая моя. А если нет моей ни одной, то ни одна у тебя, Анна, не останется... Помни, вот этими пальцами.

И он поднес к самому носу Анны свои девять пальцев (один у него отрезало машиной по первый сустав), узловатых, красных, костистых пальцев с уродливо выступавшими косточками суставов, скрюченных, как когти хищной птицы, поднес к самому носу, словно бы для того, чтобы Анна точно запомнила, о каких пальцах он говорит, и как-нибудь не ошиблась впоследствии, приняв за его пальцы чужие.

— Вот этими, Анна... Смотри хорошенько!

И Анна, безропотно повинуясь ему, посмотрела па его пальцы и долго смотрела так, словно он заворожил ее.

Потом ее белесовато-голубые глаза, не тусклые, как прежде, а живые, огромные, расширились и посветлели. Выражение тоски и страха метнулось в них и застыло. Она стала тихо от Иоста отодвигаться, ибо Иост спокойно делал уже то, что обещал.

Кончив говорить, он налил в стакан воды, всыпал в воду из бумажки, которую вынул из жилетного кармана, какой-то белый порошок и теперь подносил ко рту.

— Павел!

В один прыжок она очутилась около него, вцепилась ему в руку и повисла на ней, оттягивая ее книзу всей тяжестью тела.

Но Павел Иост не даром обладал силой буйвола. Он оторвал от себя Анну и отшвырнул, не пролив ни одной капли из стакана. И в момент, когда она подня-

лась с пола, он улыбнулся ей и выпил все до дна.

Тогда, поняв, что ничего уже не поможет, ибо Иост, помимо силы, обладал железной волей и ни за что бы не принял ни доктора, ни противоядие, Анна заметалась, не зная, что делать.

Вдруг ее обожгла мысль, что она заперта и не сможет выйти. Тогда она снова бросилась к нему.

— Ключ! — прохрипела она умоляюще. — Ключ, Павел, ради Бога...

Но он, несмотря на то, что лицо его сводило уже от судорог, нашел в себе силы еще раз улыбнуться ей и сказал:

— Ключ ты возьмешь из моего кармана *потом*...

И, остановив на ней потухающий взгляд, добавил, как бы боясь, что она забудет:

— Вот этими пальцами, Анна.... Помни!..

И остался сидеть против нее с открытыми глазами и скрюченными в последнем усилии воли девятью узловатыми уродливыми пальцами, скрюченными так, как он это показывал недавно живой.

Нужно думать, что на Анну вся картина сильно подействовала, если она не решилась взять ключ из кармана мертвого Иоста и оставалась сидеть против него на полу.

И когда выломали дверь, ее так и нашли с бессмысленным взглядом, устремленным на его руки, бессмысленным и неподвижным, как в состоянии столбняка.

II.

...Как это ни странным казалось бы для такой женщины, как Анна, но смерть Иоста она приняла к серд-

цу и долго после этого провалялась в больнице в нервной горячке...

Когда я посетил ее — тогда она стала уже поправляться, — ее первый вопрос был:

— Янсен, что девочки... Майя, Тереза и Августа?

Она приподнялась с постели — и взгляд ее был полон такого трепетного судорожного ожиданья, так, видно, напряглось все ее существо, что, кажется, ответь я ей не в эту же секунду, а секундой позже, ее сердце разорвалось бы..

— Все девочки живы и здоровы!—сказал я.

— Благодарю тебя, Янсен.

Она глубоко перевела дух, опустилась на подушки — и обильный пот выступил у нее на лице.

— Благодарю тебя! — повторила она и слабо мне улыбнулась.

Потом с притихшим, серьезным лицом пристально посмотрела куда-то в угол, мотнула головой, как бы отмахиваясь от чего-то страшного, назойливого, не дававшего ей ни минуты покоя, и прошептала так тихо, что только низко наклонившись к ней, я мог расслышать:

— У меня тяжелые сны, Янсен!.. Ужасно тяжелые!

Через неделю Анна была уже дома, а через десять дней, в раннее сумрачное осеннее утро, она сидела у меня, кутаясь в платок и, тускло глядя куда-то мимо меня, говорила:

— Не знаю, что и делать, Янсен... Я положила ее пока в чулан в тот угол, где у нас сложены пустые ящики... Ты знаешь... Там она лежит... Только меня все мучает совесть... Она ведь всю жизнь боялась крыс, а крысы так и шмыгают там, так и шмыгают...

Руки у меня были холодны, как лед, и дрожали. Я приготовил горячий пунш, глотнул сам и заставил Ан-

ну выпить залпом полстакана.

— Теперь, Анна, по порядку, как было? — сказал я. — Я не все сразу осилил... И постой... прежде какая из них? Ты не сказала...

— Разве я не сказала?... Тереза...

— Это старшая твоя?

— Да...

— Анна... теперь только не лги... Скажи мне по правде, как перед Богом, кто отец?

— Я тебе скажу, Янсен, по святой правде, как перед Богом, — сказала Анна покорно, — потому что... что же мне теперь лгать!.. Петерс Твид!

— Анна!

— Это правда, Янсен, как я живая перед тобой!

Она не лгала в эту минуту — я видел — и смертная тяжесть скатилась у меня с сердца.

— Ну, рассказывай!

— Что же мне, Янсен, рассказывать?.. Мне нечего больше рассказывать...

Анна поежилась под платком, потому что пунш, видно, ее совсем не согрел...

— Это было в четыре утра... может быть, пятью минутами позже... Я проснулась, потому что будто меня ударили... Понимаешь, Янсен, точно укол в сердце, так что даже больно было... очень больно...

— Н-ну?

— Ну, я встала и сейчас же пошла к кроваткам посмотреть, потому что что-то уж мне сказало, что нужно посмотреть... Ну вот...

Анна задохнулась и приостановилась.

— Дальше, Анна...

— Я же рассказываю, Янсен, — тихо сказала она. — Только ты не торопи меня, потому что у меня... немного мешаются мысли... Так, вот, я посмотрела... все

три лежали, как легли... Только у Терезы чуть-чуть, вот настолько, было отогнуто у шейки одеяло... и больше ничего...

Она посмотрела на меня.

— Она была мертвенькая, Янсен!...

Я прошелся по комнате, всеми силами сдерживая дрожь тела.

— Анна, — сказал я наконец, — у мертвых свои дела, у живых — свои! В дела живых мертвые не вмешиваются... Ты слышишь меня?... Я не верю, Анна...

— Во что, Янсен?

— Во всю эту штуку не верю!

— Янсен!

Она подняла на меня глаза — и, если сто лет мне суждено жить, сто лет я буду помнить ее слабую, жалстную, тающую улыбку, говорившую об истекавшем кровью материнском сердце, улыбку, с которой она, противоставляя моему неверию то, что безвозвратно случилось уже, тихо сказала:

— Но ведь она мертвенькая, Янсен. О чем же спорить?... Она ведь мертвенькая, верим ли мы или не верим, и мы ее не воскресим.

Я уцепился за новую мысль, ибо не мог же я принять то, что не укладывалось у меня в голове.

— Послушай, Анна... Вспомни хорошенько, одни ли вы были, когда Иост с тобой говорил? Вспомни это!

Она сразу поняла, что я хотел сказать.

— Одни, Янсен, не беспокойся... Это я хорошо знаю...

И, пожав плечами, задумчиво добавила:

— А если б кто-нибудь и подслушал, кому, скажи, пришло бы в голову угождать так Иосту, делать так, как он этого хотел? Что ты, Янсен?!.. Лучший, самый лучший его друг, самый преданный человек не решил-

ся бы бы так далеко пойти...

— Но, Анна... — я схватился за голову. — Это невозможно... пойми же....

— Невозможно?

Она перегнулась вдруг ко мне и, странно блеснув глазами, не тем голосом, каким она сейчас говорила, а каким-то новым, сказала, чтоб положить конец спору:

— Слушай, Янсен... Пусть сплелись тут все случайности, какие ты хочешь, пусть найдутся свидетели, которые под присягой покажут, что это сделал другой и все это видели, — я — слышишь ты меня? — я, Анна Иост, одна останусь при том, что это сделал он... потому что осталось нечто, что сильнее всех свидетельств в мире...

— Что? — спросил я, глядя на нее во все глаза.

— Следы его девяти пальцев на ее шее!..

Она обессилела и вновь опустилась и стала кутаться в платок.

— Теперь я не знаю, что мне делать, Янсен, — после длительного промежутка, когда мы оба молчали, продолжала она уже прежним тихим голосом. — Я положила се пока в чулан, чтоб те ее не увидели... Ведь они были привязаны к ней, старшей, потому что она нянчила их... И потом эти крысы... и я еще не знаю, как ее похоронить... ведь это так сразу...

Она уронила голову на руки.

— Янсен, Янсен, я скверная женщина, но я очень любила девочку Твида... — губы у нее запрыгали. — Господь видит, что я не лгу!..

———

III.

...Я, Пер Янсен, никогда не знал, что умершие сохраняют такую ужасную власть над живыми. Я не верил в это, и если уж говорить всю правду, то и после того, как Анна рассказала мне все, после того, как я сам своими глазами видел багрово-синюю полосу кругом шеи с страшными отпечатками, — я все еще не верил... Я допускал все, кроме этого, хотя ничего другого, казалось, нельзя было допустить.

Ум мой грубый и приноровлен к земле, глаза устроены так, что они видят и могут понимать только то, что перед ними и, может быть, именно поэтому я и не мог принять все так, как это приняла Анна.

Как бы то ни было, я взялся Анне помочь. Прежде всего, дело нужно было скрыть от детей. Мы сказали, что Тереза уехала в Копенгаген к тетке. Для того же, чтобы для других не выплыло все как-нибудь наружу, мы зарыли малютку ночью в том же чулане под полом и на другой день уехали все в Иен.

Я преследовал при этом и другую цель.

— Из живых людей, — сказал я Анне, — ни один не знает и не узнает никогда, куда мы едем... Что же касается Иоста, то отсюда до Иена триста верст... Подумай, Анна, сколько труда ему нужно будет положить, чтобы прорыть себе под землей такую длинную дорогу... Нет, он за нами не погонится!

В Иене мы остановились в гостинице, но в тот же день я нанял Анне крохотную квартирку из двух комнат с кухней, помог ей устроиться и, так как оставаться долго в Иене мне нельзя было, я сказал Анне, что еду завтра, и отправился ночевать к себе в номер.

Ночью я спал, как убитый, и снов не видал, а на дру-

гой день утром, выглянув из окна, я увидел Анну на другой стороне улицы. Она стояла, прислонившись к решетке сада, и пристально смотрела вверх на мои окна. Лицо ее показалось мне окоченевшим от холода. Вероятно, она долго стояла уже так, поджидая меня и не решаясь войти, а утро было очень холодное.

Но помимо того, было у нее в лице что-то еще, и ноги и руки у меня отяжелели, и прошло несколько минут, прежде чем я мог спуститься к ней.

— Августа? — еле шевеля губами, спросил я, подходя, ибо, что одна из двух мертва — я уж не сомневался.

— Нет!

Она отрицательно покачала головой.

Мне было трудно говорить, так как челюсти у меня дрожали, а я не хотел, чтобы она это видела. Но спросить надо было, ибо могло же случиться такое чудо, что я ошибся.

— Майя?

— Да, Янсен...

Еще длинная минута прошла.

— И так же... ночью?

— Да...

Больше до самого дома мы не говорили ни слова. Только в дверях я спросил и не узнал своего голоса, до того он сделался странным, каким-то беззвучно-хриплым, как у человека в последнем градусе горловой чахотки:

— Где она?

Она покосилась на меня блестевшим уголком глаза.

— Я покажу...

И добавила торопливо, словно мысль ее, действительно, всецело была занята только этим.

— Видишь ли... Не нужно, чтобы Августа видела...

— Да, да...

— И тише входи... Она еще спит...

— Да, да...

Майя лежала в кухне, в ящике для дров, плотно накрытом крышкой...

Теперь буду краток.

Все было так же, как в первый раз. Майя была мертва — и на тонкой детской шее явственно были видны те же багрово-синие отпечатки девяти страшных неумолимых пальцев.

Было бы напрасно осматривать окна и двери, чтоб убедиться, целы ли они. Едва это пришло мне в голову, как я понял, насколько это бессмысленно. Для *него* — да простит мне Бог, я уж не мог больше не верить в это— не могло ведь быть ни дверей, ни окон...

— Тише, — сказала Анна, усаживаясь в кухне на подоконник, — садись около... вот так, Янсен... И говори шепотом...

— Да, да...

— Вот так...

Она помолчала немного, глядя на неня блестящими глазами.

— Видишь ли, Янсен, теперь уж, дружок мой, хочешь не хочешь, ты должен войти целиком в это дело, с головой и ногами... Ты должен вступиться за меня и за нее, последнюю...

— Вступиться? — бессмысленно повторил я.

Она кивнула головой.

— Да, Янсен, потому что, видишь ли, последняя, Августа — ведь это твоя родная дочь... Ты знаешь же это...

Я знал это.

— Самая родная... Как же тебе не вступиться?

— Но, Анна, что я должен делать?.. Скажи мне только — что?..

— Я не знаю, Янсен... Я, право, ничего, ничего не знаю...

Она взялась за голову руками.

— У меня совсем опустела голова... Я вот смотрю и... я... я... Янсен, вероятно, очень больна... Подумай сам, что делать... Я тебе говорю все, потому что с утра уже твержу себе, что должна тебе все сказать... и вот говорю... Но сама ничего, ничего не знаю... А-ах, Янсен...

Дикий вопль вырвался у нее, но тотчас же она схватилась и зажала себе рот рукой... Потом вскочила и стала прохаживаться по кухне взад и вперед.

Я следил за ней. Минуту спустя я сказал:

— Ты хромаешь, Анна...

— Я?

Она остановилась и тупо на меня посмотрела, не понимая. Потом обрадовалась, что вспомнила.

— Да, да, — сказала она. — Это, видишь ли, утром, когда я встала... Я увидела, что у меня нога в крови... Это порез...

— Откуда?..

— Откуда?..

Она опять задумалась и даже сморщила лоб. И опять обрадовалась...

— Ну, вот, и вспомнила... Это было вчера вечером... Я разбила стакан... Вот...

И снова, как маятник, она стала ходить взад и вперед.

Красивое лицо Анны за одну эту ночь сделалось вполовину меньше и в густых волосах появились белые пряди...

IV.

Я решил «вступиться»... Я не знал, что я буду делать и как все произойдет, но сделать что-то надо было, потому что Августа была моя родная, самая родная, как говорила Анна, дочь.

В то же утро я для всех служащих гостиницы покинул Иен и в то же утро со всеми вещами был у Анны.

Я расположился в той самой комнате, где прошлую ночь провели две девочки и где теперь одна кроватка оставалась пустой.

На этой детской кроватке я и решил проводить отныне свои ночи, сколько бы таких ночей мне ни пришлось здесь провести.

Плана у меня не было никакого, да и что за план можно было выработать?

Я решил *его* дождаться... Так как *он* приходил только ночью, то дня мне было совершенно достаточно, чтоб выспаться и иметь возможность ночью бодрствовать.

Не хочу, однако, кривить душой: решение мое было твердо, но в сердце впервые стал закрадываться суеверный и дикий страх, который холодом охватывает сердце и затуманивает мозг, страх, перед которым разум совершенно бессилен, который из человека делает жалкое, обмякшее и безвольное, ни на что не годное существо... С этим мерзким, так бесконечно унижавшим меня страхом я боролся всеми силами, но в конце концов, не поборов его, видя, что с каждой минутой, приближающей меня к ночи, он растет, я прибег к последнему постыдному средству: я стал пить рюмку за рюмкой коньяк.

Это помогло.

Длинный томительный день, наконец, прошел.

Было около одиннадцати часов вечера и Августа уже спала, когда Анна, весь день просидевшая в своей спаленке, прихрамывая, вышла ко мне.

— Я одного, Янсен, боюсь, — тихо сказала она, потирая виски и морщась, как от мучительной боли, — как бы ты не проспал ту минуту... Янсен, а?

От коньяка у меня горела кровь, страх исчез, и никогда я не чувствовал себя таким бодрым, решительным и способным вынести все. Я успокоил ее.

— Смотри же, Янсен... Я тоже молю Бога, чтобы он не дал мне сна... но голова моя, ах голова...

Она крепче сжала виски,

— Это со дня его смерти у меня каждый вечер, — прошептала она, объясняя. — Так я пойду, Янсен...

— Да, Анна, будь покойна!

В полночь в доме уже были потушены все огни и стояла мертвая тишина. Несмотря на то, что Анна молила Бога, чтобы он не посылал ей сна, Бог не захотел сделать так — и через закрытую дверь, которая вела в ее спальню, доносилось ее сонное дыхание, неровное и ужасно прерывистое. Тихо дышала Августа — и больше никаких звуков.

Ночь была ясная и лунная, сквозь спущенные шторы пробивался голубоватый свет и на полу и стенах лежали неподвижные, узорчатые тени.

Ночь и тишина всегда благотворно влияют на меня. Мысль делается сосредоточеннее и глубже, может быть, оттого, что днем все отвлекает ее в сторону. Припоминаются и приводятся иногда в логическую связь такие мелочи, которые днем только разрозненно бродят в голове и сами по себе, кажется, не имеют ни особенного значения, ни смысла.

Теперь, например, полулежа в детской кроватке и глядя бесцельно перед собою, я тоже передумывал не самое главное, не то, что мне, быть может, через минуту предстояло, а пустяки, на которых я днем почти совершенно не останавливался. И не понимаю до сих пор, почему из этих пустяков меня особенно стал преследовать один... Что, казалось бы, было особенного в том, что Анна порезала ногу и захромала? Однако это не выходило у меня из головы — и странно плелась кругом этого мысль. Она плелась так:

— Анна проснулась утром с порезанной ногой... Представление о том, как это сделалось, у нее смутное, что и неудивительно, так как душа ее занята совершенно не тем... Весьма вероятно, что она даже не рассказала бы об этом, если б я ее не спросил... Анна разбила вчера стакан, но этих двух моментов она не связывает... Стакан она разбила вчера вечером, а с порезанной ногой она проснулась сегодня утром... Значит ли это, что она хватилась только сегодня утром, а ногу порезала вчера или...

Мысль, не сворачивая, упорно шла по этому пути, выводя какую-то длинную затейливую вить...

В два часа ночи — за минуту до этого в столовой били часы и я запомнил время —- я вскочил вдруг, взял спящую Августу и перенес в кроватку, которую я занимал, и сам лег на ее место.

Это отняло у меня немного времени.

После этого, мне кажется, я ненадолго забылся, но только забылся — не заснул, то есть пробыл в состоянии, когда легко отдаешься сонным грезам и в то же время не теряешь сознанья того, что кругом происходит, делаешься особенно чутким и от каждого звука, который производил в это время впечатление грома, схватываешься как полоумный с замирающим сердцем.

Я закрывал глаза — и, как только я это делал, наплывали какие-то тягучие и бесформенные мысли. Но я не поддавался им и в то время, как мне уже смутно грезился какой-то таинственный незнакомый город, я с закрытыми глазами проверял себя... «Вот я лежу в детской кроватке, — думал я, — лицом к двери и... кто-то сейчас войдет...»

И, встряхиваясь, я открывал глаза.

Я проделывал это несколько раз, потом открыл раз глаза и не закрыл уж их.

Слух мой все время был напряжен до последних пределов и мне показалось, что я уловил легкий скрипящий звук, какой производят босые ноги, осторожно нащупывающие половицы.

Звук этот родился не в той комнате, где я лежал, и огромными глазами я уставился в дверь. Сердце мое бултыхнулось, потом я перестал его чувствовать.

Я просидел так, прислушиваясь с минуту... впрочем, не знаю — сколько. Скрип повторился. Теперь уж не могло быть никакого сомнения, что по ту сторону двери что-то жило, двигалось, приближалось.

Я спустил ноги с кроватки и, сжав зубы, не шевелился больше. Я сам не ждал, что в эту последнюю минуту найду в себе столько мужества. Может быть, причиной тому было, что я все-таки немного подготовил себя к тому, что должен был увидеть... Я глядел прямо на дверь и почему-то отсчитывал секунды.

— Раз, два, три...

И вот дверь почти без звука открылась — и через порог медленно переступила человеческая фигура. Она была в белом и двигалась, как автомат...

Это была Анна... Да, Анна... Я знал это...

Свет луны падал на нее — и я видел ее застывшее, ничего не выражавшее, каменное лицо с широко от-

крытыми, неподвижными, как у мертвой, невидящими и ничего не отражающими глазами.

С вытянутыми вперед руками и скрюченными, как когти хищной птицы, пальцами, узловатыми и костистыми, напоминавшими, как фотография, пальцы Иоста, с загнутым и крепко прижатым к ладони десятым, именно тем, которого у Иоста и недоставало, пальцем, — ибо так неумолимо, точно Иост сумел внушить ей перед смертью не только свою волю, но и орудие мести, — она тихо приближалась к тому месту, где я сидел.

Ужасен был ее вид и страшно было сидеть и ждать ее. И несмотря на это, голова моя методически дотягивала начатую нить:

«Анна разбила вчера стакан и порезалась ночью босая в то время, как она шла через комнату к кроватке... Поэтому она и не может ничего помнить и не помнит... Я был прав».

А Анна подвигалась вперед и приближалась — и вот, только в это мгновенье, когда я близко заглянул в ее недумающие страшные мертвые глаза, когда я почувствовал холод ее скрюченных пальцев и эти пальцы, нащупывая, коснулись меня, я изо всей силы ударил ее по рукам и, затрясшись, закричал:

— Анна!

И тогда Анна очнулась.

Такова была вся эта история.

Теперь мне осталось немного досказать. Два месяца Анна была между жизнью и смертью — и весы колебались то в ту, то в другую сторону. Я сам потерял всякую надежду, но Господь в конце концов рассудил за благо оставить ей жизнь, может быть, для того, чтобы она могла искупить прошлое.

И теперь мы живем втроем — я, Анна и Августа, потому что после всего, что Анна перенесла, она, как

змее, переменила кожу и стала такой, что если б Иост встал из гроба, он бы ее не узнал. И она сделалась моей женой...

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРОПАЖИ

Рассказ ювелира

...Как видите, мастерская моя находится во дворе и составляет часть помещения, где я сам живу... На улице нет вывески. И так было всегда, ибо покупателей с улицы я никогда не имел, да и не гонялся за ними. Клиентуру мою составляли и составляют десятка два-три человек, не более. Клиентура кажется как будто и ничтожной для такого громадного города, как Петербург, но если назвать вам поименно лиц, которые оказывают мне свое высокое доверие и в выборе ценных украшений и камней ничьими другими услугами, кроме моих, не пользуются, вы поймете, что эти несколько человек могут вполне заменить сотни других заказчиков. Все это люди с именами и состояниями и при этом — что для меня важнее всего — настоящие знатоки и ценители.

Обратите внимание, что мастерская моя носит характер самой обыкновенной жилой комнаты, если не считать вот этого угла со столиком, где я занимаюсь, да вот этого шкафика с вещами. Мягкая мебель, портьеры, картины, ковры...

Это потому, что мой клиент не случайный, он — мой гость, почти друг, и мы частенько просиживаем здесь вместе часы.

Вот, например, туберозы, цветы, которые я особенно люблю... Разве они не придают мастерской особенно уютного вида?.. Многие не выносят их запаха, но у меня к ним слабость, и вы найдете их у меня во всех комнатах...

Впрочем, это к делу не относится...

Два года тому назад, в августе, ко мне явилась новая покупательница. Она упомянула вскользь имя моего старого, покойного уже клиента, барона Рикна, с которым, как можно было понять из ее слов, она была в свое время хорошо знакома.

Она была в трауре, немолодая уже, но лицо ее сохранило следы былой замечательной красоты, а в удивительные глаза можно еще было и прямо влюбиться. Осанка, посадка головы, что-то неуловимое во взгляде и движениях, то особенное, что отличает породу от непороды, говорило о том, что она принадлежит или принадлежала к верхам общества.

С ней была ее дочь, девочка-подросток лет четырнадцати, очень похожая на мать, вероятно, крайне своенравная, с прелестным капризным личиком. Говорили они меж собой по-английски.

Фамилии этой дамы — она назвала себя — иностранной, очень длинной, какой-то пятерной — я не скажу.

Будем называть ее Кранц.

Мы разговорились. Я показал ей кой-какие вещи. Оказалось, что она знала в них толк, особенно в камнях.

Скажу более, она чувствовала вещь, как чувствует ее художник. Ее глаза, равнодушно скользившие мимо сверкавших красивых безделушек, на которых профан, несомненно, остановился бы, приковывались к тому, что, действительно, достойно было внимания только тонкого знатока.

Целый час просидела она так у меня, пересыпая камни из ладони в ладонь и с особой любовью поглаживала некоторые из них тонкими и длинными аристократическими пальцами.

Девочка все это время жестоко, видно, скучала и от скуки то и дело подходила к окну и тыкалась своим хорошеньким носиком в цветы...

Наконец, госпожа Кранц поднялась, чтобы уйти. Из всех драгоценностей она приобрела только тоненькое золотое колечко с изумрудом, миленькое, но очень недорогое.

Выражение легкого смущения промелькнуло у нее в глазах: «дескать, столько рылась и из-за такого пустяка». Но я и вида не показал, что хоть сколько-нибудь недоволен или изумлен. Да так оно и было в действительпости.

С тех пор госпожа Кранц сделалась моим частым гостем. Не проходило месяца, чтобы она не явилась за каким-нибудь пустяком; то ей нужна была недорогая брошь, то опять колечко, то браслет для какой-нибудь знакомой. Но просиживала она у меня часами и все смотрела и смотрела, с грустью, с затаенной жадностью. Она рылась в камнях, а девочка скучала, бродила по мастерской и нюхала мои туберозы, к которым чувствовала, по-видимому, такую же любовь, как и я.

То, о чем я, собственно, хочу рассказать, случилось в конце декабря, как раз перед Рождеством. В такое время и ко мне иногда заходит случайно покупатель с улицы. Дни праздничные, магазины переполнены, всюду давка, суета, ну, какой-нибудь нетерпеливый по чьему-либо указанию и забредет.

Помню, госпожа Кранц с девочкой только что пришла... Девочка была не в духе и отдельно от матери угрюмо уселась в кресло. Мать же отошла к окну и принялась рассматривать недавно полученный мной большой, отделанный уже, но еще не оправленный рубин, диковинный камень, едва ли не самое ценное

сокровище из всего, что у меня тогда находилось.

Он был ровного густого карминово-красного цвета, без малейших жилок, с переливавшейся внутри кипящей темной кровью, с пуком мрачных лучей от каждой грани. Вес его был девять каратов. Для рубина это почти редкость.

Стоил он, конечно, громадных денег и был только на любителя.

Вот в это-то время, когда госпожа Кранц рассматривала камень, послышался вдруг звонок в передней и, спустя немного, вошел пожилой господин в форме инженера, очень солидного и благообразного вида... Лицо его мне показалось чуть-чуть знакомым; и я тут же вспомнил, что кто-то мне когда-то указывал на него, даже называл по какому-то поводу его фамилию.

Оп попросил показать ему бриллиантовые серьги.

Пришлось заняться новым посетителем.

Я положил рубин в узкую и длинную коробку, где он раньше лежал и где лежали еще несколько более мелких рубинов, коробку отставил немного в сторону и, оставив ее на столе, подошел к шкафику, где у меня хранились под ключом все ценности.

Господин в форме инженера стал за моей спиной и в то время, как я копался в ящиках, перебирая футляры, он с любопытством смотрел.

Подходящих серег не находилось.

Я провозился у шкафика минут пять... Вдруг легкий стук заставил меня обернуться. Оказалось, что девочка, подошедшая к столу, случайно задела локтем коробку с рубинами, коробка упала на пол, на ковер и рубины рассыпались.

Девочка казалась очень смущенной. Мать смутилась также, извинилась за дочь, сказала ей что-то по-английски со строгим лицом, очевидно, сделала за-

мечание, и вместе с ней стала собирать камни с пола.

Я попросил их не беспокоиться... Так как для инженера так-таки ничего не нашлось, и он тут же ушел, я стал сам собирать с пола свои сокровища.

Скажу теперь коротко, ввиду того, что вы предупреждены, о чем идет речь: все камни нашлись, кроме рубина, того рубина.

Он пропал.

Мы обшарили все уголки, каждую складочку ковра, мы сняли, наконец, ковер и осторожно тут же в комнате вытряхнули, мы переставили всю мебель, мы перешли в следующую комнату и в следующую в надежде, что он мог куда-нибудь закатиться, перевернули и там все верх дном, — камня не было.

Вы поймете мое дикое изумление, мое отчаяние, мой ужас.

Девочка, виновница всего, смотрела полными страха глазами. Госпожа Кранц побледнела...

— Господи, что же это? — прошептала она.

Мы снова все стали шарить, ползая по полу, сталкиваясь, не обращая друг на друга внимания, позабыв о пропасти, которая отделяла меня, простого, хоть и искусного ремесленника, от них, аристократок.

Наконец, госпожа Кранц поднялась.

— Я вас попрошу обыскать нас обеих!

Я дико посмотрел.

Пропажа потрясла меня, я почти обезумел, но такие жуткие подозрения не приходили мне в голову, клянусь вам, я бы сам на эту меру никогда не решился.

Я пролепетал, невольно отступая:

— Что вы, сударыня...

Она перебила меня и повторила:

— Я попрошу вас немедленно обыскать нас обеих!..

— Но уверяю, сударыня... мне этого не надо!..

— Зато мне надо! — сказала она, блеснув глазами.

Слишком ясно было, что она не хотела, чтобы даже тень подозренья могла на ней остаться. И, в конце концов, я покорился. Я отвел обеих в последнюю комнату к жене. Я шепнул жене, в чем дело, и оставил их одних.

Жена моя — превосходная женщина, но... мало тронутая культурой и, когда нужно, человек очень решительный, даже слишком... Она не стала обыскивать для одного вида... Вопрос был шкурный, и она обыскала обеих, как не обыскал бы сыщик. Она не только раздела их догола, не только перебрала каждую складку их белья и платья, но искала так, как может решиться искать только женщина у женщины.

Камня не было.

Обе ушли.

После их ухода вся квартира снова, конечно, была перевернута вверх дном. Но успех был тот же.

Камень непонятным, таинственным, чудесным образом исчез.

Первая моя мысль была та же, что, я вижу, шевелится и у вас, именно, что во всей этой истории какую-то роль сыграл инженер, тот случайный покупатель, о котором я упомянул и в присутствии которого все разыгралось. Дескать, приход его был не случайный, а рассчитанный, условленный заранее, он воспользовался происшедшей суматохой, подобрал незаметно камень сам или получил его из чьих-либо рук и ушел.

Так спешу вас теперь же разуверить в этом: ничего подобного не было.

Может быть, фабула вымышленного рассказа так бы и развернулась, потому что слишком уж похоже все сплелось. Но жизнь прямее и в этой прямоте чаще бесконечно богаче всякого вымысла.

Повторяю, ничего подобного. В настоящую минуту я могу сказать это с полной уверенностью. Инженер не имел понятия о госпоже Кранц, не имел понятия о камне, действительно искал серьги какой-то особой формы и ушел, не подозревая даже того, чего он косвенно был причиной.

Фамилия его была Скрябин. Это я с точностью узнал в тот же день, как узнал его адрес. Я был сам у начальника сыскной полиции и знал хорошо, что и за Скрябиным и за Кранц был учрежден тайный надзор, был даже произведен обыск в их квартирах, и каким-то таким образом, что ни один, ни другая про это не знали.

Камень не был найден.

Дали знать всем ювелирам столицы, всем оценщикам ломбардов, были разосланы во все города телеграммы с подробным описанием пропажи и... ничего, как и раньше!..

Камень пропал, так пропал, что найти его никаких надежд уж не оставалось.

Между тем, жизнь шла вперед, искусство мое требовало от меня зоркости и внимания и приходилось брать себя в руки. И, скрепя сердце, я заставил себя о камне не думать больше.

Спустя месяц или около того, госпожа Кранц пришла ко мне со своей девочкой и купила шейную цепочку для медальона. Мы не могли не вспомнить того, что недавно случилось, поговорили снова об этом, подивились, она пересмотрела, по обыкновению, все новинки и ушла.

И с этого дня она, как и раньше, через известные промежутки стала ходить ко мне. И все потекло, словно ничего в прошлом не было...

Так прошло полгода.

В прошлом году, в августе, я запомнил и число, — двенадцатого, — госпожа Кранц пришла ко мне утром — время, когда она редко или, вернее, никогда не приходила. Она сказала, но как-то вскользь, что уезжает в этот день и что пришла она посмотреть для дочурки небольшой кулон.

Кулон был выбран и куплен и, спустя немного, госпожа Кранц стала со мною прощаться.

Вдруг девочка, стоявшая у окна около горшков с цветами, что-то сказала ей по-английски. Госпожа Кранц посмотрела на нее, пожала плечами и, небрежно бросив в ответ несколько слов, направилась к двери.

Девочка, однако, не пошла за ней и повторила свое, но уже капризным тоном. Мать нахмурилась и ответила ей уже сурово. Тогда девочка заплакала.

Я ничего не понимал.

С легкой улыбкой, с той особенной улыбкой, с какой взрослые в присутствии детей говорят об их причудах, госпожа Кранц сказала мне:

— Ей понравились ваши туберозы, и она хочет, чтобы я попросила вас уступить ей один вазон.

Я улыбнулся.

— У барышни, кажется, к ним такая же страсть, как у меня... Я давно заметил... Какой же?

— Нет, вы ни за что не должны уступить.

— Помилуйте... Такой пустяк...

— Нет, не потому... Если начать ей потворствовать теперь, когда ей четырнадцать лет... Нет, нет...

— Ну, один раз не в счет...

— Но я не куплю...

Я сказал мягко...

— Я и не продаю... Но позвольте мне преподнести от себя...

Я настоял. У девочки просияло личико. Она указала на крайний вазон. Мать и хмурилась, и смеялась, и хотела во что бы то ни стало заплатить. Я, разумеется, наотрез отказался. Тогда обе они стали меня благодарить и через минуту мы расстались.

И вот тогда только, когда мы уже расстались, когда захлопнулась дверь, когда зазвучали их шаги на лестнице, вот в эту именно минуту меня обожгла вдруг неожиданная, жуткая, невозможная мысль... Словно бы вдохновение на меня снизошло.

Я быстро кликнул жену, велел ей остаться в мастерской и, ничего не объясняя, бледный от волнения, схватил пальто и шапку и бросился по лестнице вниз.

Они успели уже отъехать, но, к счастию, я еще видел их и нанять извозчика и броситься за ними вслед было для меня делом одной минуты.

Они, действительно, ехали к вокзалу, но нагнал их я только на перроне.

Я нагнал их и залепетал, задыхаясь:

— Сударыня... эти цветы... Простите... я раздумал... Я не могу... я... я...

Госпожа Кранц сделалась иссиня-белой и зашевелила затрепетавшими губами. Но я не дал ей слова сказать. Я схватил дрожащими руками вазон. Вазон выскользнул у меня из рук, разбился вдребезги, выпа-

ла оплотневшая земля, раскололась и из середины раскола на асфальт, с легким стуком, выкатился мой рубин.

Во время суматохи в мастерской он был кем-то — матерью или дочерью — глубоко продвинут в землю.

Так обе эти женщины выполнили то, что задумали и к чему так долго исподволь готовились.

МЕСТЬ

I.

Когда Грушенька оставалась одна, она подходила иногда к зеркалу, приглаживала поседевшие волосы худыми и огрубевшими от работы руками и смотрела на себя, долго смотрела. Лицо у нее было постаревшее, измученное, глаза глубоко ушли под лоб и казались огромными от темных кругов, которые лежали под ними, нос заострился и не оставалось в ней ничего, что когда-то заставляло людей оборачиваться на нее и глядеть ей вслед... И до того Грушеньке становилось жаль глядеть на себя, что у нее капали горячие слезы и она отходила от зеркала с дрожащими губами.

Как скоро, как ужасно скоро жизнь прошла!.. Только на один миг она улыбнулась ей, блеснула всеми цветами радуги, обдала теплом и лаской и, не успела Грушенька оглянуться, прийти в себя, как все то, что мерещилось ей в таком радостном свете, исчезло и растаяло, как солнечное пятно на стене...

Грушенька смотрела на большой мужской портрет, висевший в кабинете, и губы сильнее начинали у нее дрожать.

— Господи, спаси и помилуй меня, грешную! — шептала она, отходя и сжимая руки. — Нет больше сил... Нет!..

И все-то ей рисовалась одна и та же картина, несмотря на то, что всеми силами старалась она отгонять от себя всякие воспоминания.

Она, молодая еще, в своем платье фабричной работницы, в лесу, за городом, и рядом с ней он, Стахов,

барин, и не такой, каким он теперь, а каким он был тогда и каким изображен на портрете. Оба они сидят на сваленном грозою дереве. Пахнет древесной гнилью и грибами. Где-то близко хлюпает вода...

От него пахнет вином и глаза его блестят в темноте.

— Хочешь, пойдем завтра к попу?.. — говорит он. — Ты смотришь и думаешь: пьяный человек!.. А я тебе говорю, пойдем!..

А она, действительно, смотрит широко и не понимает... Ей кажется, что сумасшедшая волна, которая тут в лесу недавно подхватила ее и бросила к нему в объятия, еще несет се и кружит...

— Хочешь? — повторяет он и подсаживается ближе, и его веселые озорные глаза смотрят на нее с усмешкой.

Дальше ее воспоминанья не идут. Это было самое яркое в ее жизни, а потом сразу и круто, без переходов, начался тот ужас, который согнал с ее лица краски, посеребрил раньше времени волосы, приглушил ее голос, сделал ее безвольной, полной томительного вечного страха и пригнул, как тростинку, к земле.

Смутно она понимала, что женился он на ней потому, что перед ней, крестьянкой, ему не нужно было казаться ни сильнее, ни красивее, ни лучше, ни умнее, чем он был на самом деле. Он мог быть перед ней, как в халате, на распашку.

Но, женившись, он с первого же дня начал ей за эту женитьбу мстить.

———

II.

Грушенька не видела, как Стахов пришел. Она была в это время в кухне и услышала только, как стукнула входная дверь. Вслед за этим — она знала — должен был разнестись по всей квартире грозный окрик:

— Груша!..

Но окрика не последовало и Грушенька с трепетом стала прислушиваться.

Из кабинета не доносилось ни звука.

Тогда, съежившись, как собака, которую собираются бить, Грушенька подобралась к двери.

Дверь была неплотно закрыта и то, что она увидела, наполнило ее бесконечным изумленьем.

Стахов, несмотря на полноту, обыкновенно подвижный, живой и шумный, — сидел теперь, странно притихший, целиком занимая своим огромным отекшим телом широкое мягкое кресло. Он тяжело и часто дышал, и живот, лежавший у него на коленях, колыхался порывисто и неровно. На его широком лице, поросшем клочьями редкой иссера-седой бороды, стоял пот и этот пот особенно выделялся и блестел, как слезы, на больших, дряблых мешках под глазами.

Он сидел, опустив слегка свою большую облысевшую голову, и пристально, с жутким вниманьем, смотрел в пол, словно он увидел там что-то такое любопытное, от чего он не в силах был оторваться.

И то, что он сидел так и так смотрел, было до того необычно, что Грушенька, несмотря на страх, который ее никогда не оставлял, раскрыла дверь шире и вошла.

— Василий Иваныч, что с вами?

Голос у нее задрожал, осекся и прозвучал слабо и

робко. Тем не менее, он услышал и поднял голову.

Его бледно-голубые выцветшие глаза были мутны и покрыты какой-то пленкой, и некоторое время он смотрел так, словно бы не мог понять, кто перед ним. Потом пленка исчезла.

— Болен! — коротко и хрипло сказал он.

И посмотрел ей в лицо. И вдруг в глубине его глаз появился и стал загораться знакомый ей, пугавший ее всю жизнь, тихий, сосредоточенно-злобный, насмешливый блеск.

— Рада? — медленно спросил он. — Да уж, рада!.. Молчи, сам вижу... Но, погоди... Авось, не сразу еще помру... авось, еще будет время нам покалякать...

И крикнул грубо, словно хлыстом ее ударил:

— Ну, марш за врачом!.. Стоишь тут!.. Уставилась, как новорожденная овца!.. Пшла!..

Грушенька заметалась и бросилась к двери...

Врач, пожилой человек с мягкими седыми волосами и широким, толстым мягким носом, долго выслушивал и выстукивал Стахова, мял ему грудь, ноги, живот. И все то время, что он проделывал это, Стахов не сводил с него тяжелого воспаленного взгляда и думал о том, что люди с такими, как у доктора, мягкими глазами обыкновенно бывают в жизни очень добродушны. И у него была надежда, что все окажется пустяками, потому что не может же такой человек сказать в лицо, что пришла смерть.

Но доктор, покончив с осмотром, сказал что-то очень неопределенное и в этом неопределенном хотя и не было приговора, — не было ничего и утешительного.

И, прописав несколько рецептов, доктор ушел, пообещав зайти еще.

III.

В первые дни, однако, Стахова надежда еще не оставляла и он все ждал, что вот-вот что-то сделается с ним неожиданно во сне, и он откроет однажды утром глаза и болезни не станет, и все будет по-прежнему.

И оттого, что он надеялся так и ждал, ему нравилось делать вид, что он умирает и говорить с Грушенькой о своей смерти.

Он лежал, укутанный по подбородок одеялом и глубоко запрятав голову в подушки, так что Грушенька видела одни его светлые, насмешливые и злые, скучающие глаза.

— Такие-то дела, Груша, — говорил он, — не стало жизни!.. Тебе, чай, и не снилось, что это может случиться так, вдруг, а оно вот никого не спросилось, подступило и капут!.. Сколько ты за это одних свечей разным угодникам поставишь?..

Глаза его суживались, он пристально, с кривой усмеш кой, вглядывался ей в лицо, потом вздыхал:

— Бессловесная ты... Кроткая и бессловесная!.. Я так думаю, что ты еще, пожалуй, заплачешь, как помру!.. Я вот смотрю на тебя и все думаю, что, может, вся жизнь твоя другая была бы, коли б ты была не такой... Потому что кротких и бессловесных всегда мучить хочется... Верно тебе говорю... В детстве я собачку такую имел, вроде тебя, тоже тихую и безгласную... Бывало, только цыкнешь на нее, даже только подойдешь, а она уж на спинку опрокинется, лапочками дрыгает, хвостиком виляет... Стегал я ее тоненьким ремешком по животу и частенько долго стегал, а у нее только глаза нальются слезами, но укусить — ни за что не

укусит... Точь-в-точь, как ты... Н-да... Не сладка, поди, жизнь твоя была со мной?... Да уж сам понимаю — что говорить!.. А вот не пляшешь же ты, что умираю!.. Вот какая ты, Грушенька!..

— Да ведь и то сказать, — добавлял он, помолчав, — и моя жизнь была не слаще... Разочти-ка... Сузила ты для меня ее, Грушенька, жизнь — то и тащился я с тобой, как с тяжелым ядром на ноге... Не хочу грешить и лгать — не любил я тебя!.. М-да... Слышал я, что к тебе вот опять странники ходить стали, шепчешься ты с ними, на вериги их, выпучив глаза, смотришь... А я, ведь, пожалуй, почище твоих странников выйду, потому что таких вериг, как я, никто бы из них на себя не взвалил... Так-то оно... Ну, пошла, надоела!..

Ум у Грушеньки оставался первобытным, темным и суеверным, и иногда ночью, во время припадков удушья, Стахов будил ее и, когда припадок проходил, начинал ее пугать, как пугают детей, и наслаждался ее страхом.

Он приподымался вдруг на локте, дико глядел в темноту за окном и спрашивал:

— Что это?.. Кто это звонит?.. Слышишь звон?..

Грушенька бледнела.

— Это по мне... По мою душу!.. Иди, беги, чтоб перестали... Беги!..

Перепуганная насмерть, Грушенька подымалась, дрожа и, сама не зная для чего, делала шаг к двери.

Он схватывал ее за руку.

— Стой... Куда пошла?

И с ненавистью принимался глядеть на нее.

— Куда шла, блаженная? О чем думала, когда шла? Слышала ты звон?

— Н-не...

— А коли «не», то к чему шла?.. Я, может, целый час лежал и все думал, чем бы тебя попугать... А ты сразу и пошла... Теперь уж вижу, что ты и впрямь в мою смерть веришь и ищешь ее!..

А через десять минут он уверял ее с вытаращенными глазами, что видит за окном что-то белое, что это смерть за ним пришла, и хрипло кричал, что он не хочет умирать, что нужно прогнать смерть, и щипал Грушеньку за то, что она не двигалась с места.

Он рисовал план ада и показывал ей там уголок, который ему отведут. Потом садился в угол постели и нахлобучивал себе подушку па голову.

— Я уже умер, — мрачно говорил он, — и смотрю на тебя теперь с того света!..

И кричал громовым голосом:

— Покайся, окаянная!

Грушенька дрожала.

Несмотря на то, что болезнь шла вперед гигантскими шагами, несмотря на то, что удушье мучило Стахова все сильнее, и он каждые полчаса требовал подушку с кислородом, во время коротеньких промежутков он мучился тем, что должен лежать, прикованный к постели, мучился своей бездеятельностыо, тоской и скукой, и придумывал все новые и новые жестокие забавы.

Раз он подозвал Грушеньку к постели и, глядя на нее мутно и без выражения, как ослепший, стал испуганно бормотать, беспомощно поводя по воздуху руками:

— Где ты, Грушенька?.. Я тебя не вижу!..

Он трогал руками ее лицо, больно мял щеки, нос, уши и все спрашивал:

— Где же ты?... Где ты?

Он впился отросшими ногтями ей в руку так, что у

нее выступила кровь.

— Где же ты?..

В другой раз он сумрачно сказал ей:

— Ежели ты думаешь, что как я умру — так тебе настанет свобода, — не думай!.. Я, брат, тебя и потом не оставлю... Ни за что... Я уж придумал...

— Что? — пролепетала она, глядя на него во все глаза.

— Ходить к тебе буду! — весело и возбужденно сказал он.

— З-зачем?

— Душить!...

Она отступила, дрожа. Потом бледно усмехнулась.

— Мертвые не ходят!

— Не ходят, которые не хотят! — крикнул он злобно. — А я захочу и непременно так и будет!... В первую же ночь, сейчас же и приду!.. Так и жди!..

И когда он засыпал, она опускалась на колени, сжимала руками голову и шептала:

— Господи, прости мне... Господи, прости... Нет больше сил!...

И всматривалась в него, сонного, пристально всматривалась и видно было, что какая-то неясная еще, пугающая мысль шевелилась у нее, ширилась, росла, не давала ей покоя...

IV.

В течение всего дня дождь неслышно наполнял воздух туманной и холодной пылью, а к вечеру поднялся ветер и непогода усилилась. Очевидно, ветер налетал порывами; дождь с шумом обрушивался вдруг

на стекла и видно было, как стекла сейчас же мутнели и покрывались широкими, чешуйчатыми полосами воды.

Стахов, дремавший, проснулся вдруг и сел в постели, весь в поту. Он не помнил, снилось ли ему что-нибудь и напугал ли его сон. Все тело его дрожало и страшный клубок, распирая и целиком захватывая горло, подступал все ближе, не давая доступа воздуху...

— Груша! — прошептал он...

В комнате стоял полусвет от маленькой керосиновой лампочки, горевшей в углу и прикрытой зеленой ширмочкой. Груша, нераздетая, спала около в кресле.

— Груша! — прошептал он снова и жадно стал ловить ртом воздух и от усилий, с которыми он это делал, слезы блестели на его выпученных глазах.

Грушенька проснулась.

— Подушку! — прохрипел он, — подушку... скорей!..

Со сна Грушенька смотрела, не понимая... Потом сонливость у нее исчезла и глаза у нее открылись, осмысленные, покорные и тихие, как всегда, по какие-то светлые и странные.

Подушка с кислородом лежала около нее.

Но она не посмотрела на подушку и стала неторопливо поправлять волосы.

— Подушку!..

— Сейчас, Василий Иваныч... вот я волосы поправлю!..

— П-подушку!..

Красным, гневным и изумленным стало его лицо.

— Сейчас, Василий Иваныч...

Несколько головных шпилек упало на пол и она наклонилась и стала их подбирать...

— Ничего... потерпите, Василий Иванович... Ничего...

Она взяла одну шпильку в рот и зажала зубами.

— Сколько я-то терпела!.. Двадцать лет!.. Двадцать ведь лет, Василий Иванович!.. Подумайте!.. Ничего... потерпите!..

— Гр-руша!..

Он хрипел, и гнев его исчез, и выражение ужаса метнулось у него в глазах и застыло.

— Двадцать лет, Василий Иваныч, и хоть бы раз я против вас голос подняла!..

— З-задыхаюсь!..

— ...Как та собака, которую вы ремешком стегали... Ну, точь-в-точь, как вы тогда рассказывали!.. Дохнуть при вас не смела, глаз поднять... А сколько прочих мук я от вас приняла!.. Вспомните, Василий Иванович! Бога побойтесь!..

— П-подушку!..

У него уже не хватало голоса. Ртом, изогнувшимися пальцами он ловил воздух. Выпятились белки глаз и на них проступили тонкие, как волоски, красные жилки.

Грушенька посмотрела на него вскользь, потом оперлась руками о постель, положила голову на ладони и, глядя на Стахова, тихо и скорбно продолжала:

— Двадцать лет, как один день, и за двадцать лет не видела я солнца — все ночь была!.. Да и теперь я не верю... Не может быть, чтоб это уже конец!.. Верите ли, Василий Иваныч, я вот гляжу на вас и вся трясусь от страха, что, может, это так и все еще пойдет, как было!..

Как рыба, выброшенная на берег, Стахов только разевал и закрывал рот. Глаза его с выпятившимися до последних пределов белками, полные, как прежде, смертельного ужаса, казалось, не могли оторваться от лица женщины. В горле у него клокотало. Лицо все

больше и больше багровело. Огромная грудь выпятилась страшным бугром и не опадала.

Но его руки, с искривившимися и трепетавшими пальцами, делали какие-то осмысленные движения, и за пальцами бессильно тянулось все тело.

Подушка с кислородом лежала на расстоянии всего какого-нибудь аршина...

Один глоток воздуха!..

Грушенька, опустив глаза, отодвинула подушку подальше и углы рта у нее дрогнули.

— Глазки-то у вас, — вон какие сделались! — сказала она тихо и жалостно.

И замолчала.

И в течение пяти минут они смотрели друг на друга, не двигаясь, не произнося ни слова.

Клокотанье в горле умирающего становилось сильнее. Краснота его лица принимала синеватый оттенок. Пальцы впились в простыни и судорожно мяли и рвали их.

Грушенька встала.

— Отходите вы, видно, Василий Иваныч! Вы не беспокойтесь... я вас уберу потом, как надо... Попростимтесь!

Она низко, низко поклонилась и коснулась лбом пола.

— Простите, в чем грешна была!..

Стахов в последний раз забрал в грудь воздух. Жидкий блеск в его глазах исчез, и глаза сделались красными от бесчисленных жилок, которые лопнули и залили белки кровью... Вздулись, как веревки, жилы на шее и лбу... Потом грудь опала, краснота сбежала с лица, и Стахов стал валиться на подушки.

Грушенька с минуту подождала еще. Стахов не шевелился. Тогда она осторожно уложила его на спину и

сложила ему руки на груди.

— Упокой, Господи, душу раба твоего Василия!..

Набожно прошептав это, Грушенька опустилась в кресло, глубоко перевела дух и отерла холодный пот, который покрывал ее лицо, как роса.

ТУК-ТУК...

...Мы колесили уже часа три по степи, ныряя между снежными сугробами и проваливаясь в ямы, а конца пути все еще не было видно. С лошади, каждую минуту увязавшей в снегу по брюхо, валил пар, у меня уже окоченели руки и ноги. А главное, не похоже было, чтобы мы был на настоящей дороге.

— Ну что, Онисим, скоро? — в сотый раз спрашивал я с беспокойством.

— Надоть, скоро! — отвечал мой возница, всматриваясь в снежную даль. — Должно, вон за теми вешками дорога тебе уже прямо пойдет!..

Но никаких вешек я не видал. Кругом были только курганы, делавшие эту часть степи похожей на гигантское кладбище с высокими могильными холмами, засыпанными снегом.

Мы сделали еще с версту. Лошадь плелась все тише и тише. Наконец совсем остановилась. Онисим слез с облучка.

— Ну, что там еще? — сердито спросил я, выглядывая из возка.

Онисим для чего-то поправил на лошади сбрую, потом почесал затылок.

— Эка незадача! — смущенно пробормотал он, — и ума не приложу, как оно вышло... Кажись, все правильно ехали...

— Да мы сбились, что ли?

— Должно, барин, сбились!..

Я вылез из возка. Кругом тянулась та же бесконечная, унылая, белая степь, без малейшего признака какого-либо человеческого жилья.

Между тем, короткий зимний день приходил уже к концу, и чувствовалось, что холодная огненная полоска, которая стояла еще на западе, скоро должна поблекнуть и растаять.

Онисим все поправлял сбрую, бормоча что-то про себя и покачивая головою. Лошаденка, вся седая от инея, стояла, тяжело поводя худыми боками, глядела в землю и, видимо, наслаждалась временным покоем.

— Однако, не стоять же тут! — сказал я дрогнувшим голосом, впервые осмыслив весь ужас положения. —Нужно поискать дорогу!..

— Поискать! — уныло протянул Онисим. — А где тут ее будешь искать! Сказано было, от Овечьих камней все прямо — прямо и ехали... Это от курганов все... Наворотили их тут, дьяволов, на человеческую погибель!.. А теперь влево ли, вправо сворачивать — пойди, угадай... Мы, может, уж с час как без толку кружимся! Аль сами не видите, барин?

Я видел. Однако я попытался еще что-то сделать, решительно куда-то шагнул, тотчас же увяз, выпростал с трудом ноги и вернулся...

А сумерки уже наступили. Синие тени, лежавшие на снегу от курганов, исчезли. Небо словно помутнело и опустилось ниже. И вдруг густыми хлопьями повалил снег.

— Занесет! — мелькнула страшная мысль.

Словно мириады неведомо откуда взявшихся белых птиц разом заполнили весь воздух и, спеша, кружась и толкаясь, бесшумно стали рваться на землю...

— Эко горе! — прошептал Онисим, плотнее нахлобучивая шайку, и взобрался на облучок. — Видно, барин, и впрямь ехать надо... Стоять хуже... Н-ноо!..

Лошадь рванулась.

И опять пошли мы медленно нырять между снеж-

ными сугробами.

Сквозь крутящийся снег в наступавшей тьме ничего нельзя было разобрать. Несколько раз казалось нам, будто вдали начинает маячить что-то похожее на строение... Виднелись очертания стены, покосившейся крыши... Вот и дымок, разрываемый в клочья ветром. Вспыхивала надежда и мы сильнее погоняли лошадь. Но проходило несколько минут и мы оставляли позади себя маленькую группу кустов на холме, трепавшуюся под ветром.

Лошадь шла все медленнее. Мы подымались на какую-то возвышенность. Я и Онисим выскочили из возка и припряглись к оглоблям. Лошади стало легче.

Теперь курганы остались позади и внизу. Перед нами, насколько глаз мог различить во тьме, тянулась ровная степь. Стало холоднее. Ветер, который почти не чувствовался внизу, между курганами, здесь, на свободе, налетал порывами, свистел и ревел, подымал снег с земли, трепал полы шубы. Он забирался в рукава и от рук холод шел дальше, охватывая грудь и спину. Следы полозьев тотчас же заметало.

— Онисим...

— Ну?..

— Куда же мы, братец, едем?.. Ничего не видать!..

Онисим не ответил. Мы оба старались побороть ужас перед тем, что казалось уже неизбежным...

Прошел час. Измученная лошаденка еле плелась. Слышалось только ее тяжелое сопенье.

В одном месте возок вдруг сильно накренился на сторону и стал валиться. Под нами оказалась неглубокая, засыпанная снегом яма. Лошадь протяжно и жалобно заржала, потом, упершись передними ногами в край ямы, понатужилась и выскочила вместе с возком...

И вот, сейчас же за этим — помню — родился тот странный звук, который заставил меня и Онисима встрепенуться. Где-то недалеко в снежной пустыне глухо зазвякало...

— Тук-тук-тук!..

Этот звук родился и, казалось, тотчас же вступил в борьбу с ветром и густыми хлопьями снега, которые, налетая на него, словно старались заглушить.

— Тук-тук-тук!..

Похоже было, будто звякал колокольчик с языком, тщательно обмотанным тряпкой, и от этого звук был такой глухой, без звона.

— Онисим! — пробормотал я, боясь еще, что меня обманывает слух. — Ты слышишь?

Онисим слышал. С задрожавшим лицом он молча вскочил на облучок и хлестнул лошадь, что было сил.

— Едут! — торопливо, срывающимся голосом сказал он. — Услышал Господь мою молитву!..

И добавил, разом выдав все, что он пережил и передумал:

— Пропали бы, барин, ни за грош!..

Мы поехали, казалось нам, прямо на звук. Мы ехали, не переставая напряженно вслушиваться. Звук не пропадал. Очевидно, и лошадь слышала и понимала, что в этом звуке все наше спасение и бежала быстрее.

— Тук-тук-тук! — звякало непрерывно справа или слева. Мы не могли точно определить, с какой именно стороны.

— Тук-тук-тук!

Мы ехали уже минуть с десять.

— Онисим... А ведь мы, пожалуй, не так едем!..

Звук не отдалялся и не приближался, словно бы мы не двигались с места. Вероятно, Онисим и сам уж это заметил. Он придержал лошадь.

Ветер по-прежнему свистел и ревел... Летели и летели на землю белые хлопья... Звук вдруг исчез...

Я посмотрел на Онисима. Онисим — на меня.

— Что за притча! — пробормотал он. — Явственно ведь слышалось!..

У обоих у нас мелькнула одна и та же страшная мысль, что мы с самого начала взяли ложное направление и отдалялись от того, к чему хотели приблизиться.

— А то, может, *он* где-нибудь за курганом, — нерешительно сказал Онисим. — Ветром-то относит, нам и не слыхать... Нужно далее ехать!..

Мы опять двинулись. И только мы двинулись, «тук-тук-тук» таинственно зазвякало в снежной пустыне.

— А что, барин! — радостно вскричал Онисим. — Говорил я... Н-но, милая, пошла!...

Теперь мы ехали, не останавливаясь, может быть, с полчаса. Сначала ехали направо, как я хотел, потом круто свернули влево, как считал правильным Онисим. Звук не пропадал, не отдалялся, но и не приближался.

— Онисим, что же это?

— А кто его знает!..

Это был какой-то кошмар...

Лошадь выбивалась из сил. Мы сделали новую остановку... И тотчас же пожалели, что сделали это... Нас охватил суеверный страх; звук, который только что был так явственно слышен, словно по волшебству исчез, лишь только лошадь стала.

— Вперед!.. — крикнул я во все горло.

Лошадь рванула и «тук-тук-тук» зазвучало, как прежде.

— Стой!

Звук исчез.

Некоторое время мы оба молчали, напуганные и потрясенные...

— А дело-то, барин, того, — начал, заикаясь, Онисим. — Неладно, говорю, дело-то...

— Что неладно? — сказал я, стараясь удержать челюсти, которые дрожали и прыгали.

— Неспроста это, говорю... Видать, кружит нас *она*...

— Кто она?..

— Да она... Нечистая сила...

Я сжал зубы.

— Ну, поговори еще, дуралей... Да пусти, пусти лошадь... Пусть сама идет, как знает!..

Опять поехали...

— Тук-тук-тук...— опять зазвучало.

Вее слышнее и слышнее отдавался этот звук у нас в ушах и все бодрее бежала лошадь.

— Барин, — сказал вдруг Онисим, весь встрепенувшись, — а ведь мы теперь на дорогу попали... На дорогу, как есть... Вон и вехи — глядите?.. Чудеса и только!..

Я глубоко перевел дух. По ходу лошади было уже видно, что она почуяла что-то верное...

— Вот видишь, стало быть, лошадь-то умнее нас.. Вот она на звук и вывела нас прямо... А мы кружились!..

— Вывела! — сказал Онисим и подозрительно покосился на меня. — А почему же, барин, все не видать того?

— Кого?

— А того, кто впереди-то едет!..

— Погоди... за поворотом увидим!

Дорога, действительно, заворачивала. Но когда мы миновали поворот, мы все же впереди себя никого не

увидели.

А звук становился все слышнее и слышнее. Теперь, когда ни ветер, ни снег не заглушали его, он раздавался отчетливо, похожий на мелкий дробный стук. И стук этот сопровождал нас, звучал почти под ухом, продолжая быть необъяснимой загадкой.

Но Онисима стук не занимал уже.

— Гляди-ка, гляди-ка, барин! — радостно гаркнул он и указал рукой на что-то видневшееся впереди. — Ведь это не иначе, как Быкинский двор!..

Я посмотрел. В полверсте от нас чернело что-то громадное и длинное и в этом длинном и громадном светились несколько огненных точек... Это был Быкинский заезжий двор, одиноко стоявший на пустынном степном тракте.

— Слава Тебе, Господи! — сказал Онисим и широко перекрестился. — Явил чудо. Не дал пропасть!

— Да, чудо!.. — повторил я, как эхо...

Через несколько минут мы въезжали во двор и через несколько минут, осматривая возок, я увидел отогнувшуюся от полозьев узенькую железную полоску, которая, лишь только мы повели нераспряженную еще лошадь под навес, стала бить по задку:

— Тук-тук-тук!..

ШАТКИЕ КРЫЛЬЯ

I.

Их жило трое в одной комнате: белка, попугай и человек. Теперь у человека были гости, и попугай и белка, забытые и обиженные, делали вид, что дремлют.

Человек — Иван Ильич — длинный и худой, как жердь, сохранивший от времен, когда он служил в какой-то труппе статистом, бритую актерскую физиономию, кашлянул в сторону и потом, наклонившись в гостям, сказал сиплым, приглушенным голосом, как говорят без просыпу пьющие люди:

— Выпейте, Марья Антоновна! Прошу покорно! И вы, Артемий Филиппович... Прошу покорно...

Темноглазая молодая женщина с круглым лицом, тронутым оспою, и подозрительного типа субъект, похожий на беглого монаха, чокнулись с хозяином и выпили.

Женщина стала закусывать, а мужчина крякнул и налил себе вторую рюмку.

— А я сегодня имел разговор, — сказал Иван Ильич с таинственным видом. — Прелюбопытно... Но выкушайте сначала! Прошу покорно... Марья Антоновна, за ваше здоровье!..

Выпили по второй.

— Изволили слышать про Жмурова-Донского?.. Н-нет?.. Большой актер. Российский самородок... Талантище... Первый Гамлет, принц Датский... Вместе играли когда-то...

Иван Ильич закашлялся и кашлял долго и мучи-

тельно. Пот выступил у него на лбу от напряжения и, когда припадок прошел, он долго сидел, не говоря ни слова, с выпученными глазами, на которых блестели слезы, и жадно ловил воздух.

— Вместе играли когда-то... Я играл тень... Хорошо играл я тогда. Главное, голос был настоящий... Хватишь еще полбутылки, и так гудит, что самого оторопь берет, ты это или не ты... Мурашки ползут по телу... А что купцы со мной за этот самый голос делали — и описать невозможно... А сегодня иду, и навстречу он сам — Жмуров-Донской... Узнал...

Иван Ильич потер руки и потом весь заерзал на стуле, как человек, которому не может дать успокоиться огромное счастье, выпавшее на его долю.

— Фигура!.. Не видали?.. А-ах, что за фигура!.. Плечи, голова — Аполлон Бельведерский... И одет... Боже, до чего утонченно человек одет!.. Галстух, и в нем рубин... Не рубин — вулкан огнедышащий... Трость, перчатки, цилиндр... Узнал... Облобызались... При всем народе... Солнце, экипажи, женщины... Облобызались и пошли рядом... Так и так, слово за словом... Поступай, говорит, ко мне в труппу... По всей, говорит, России гоняюсь за порядочной тенью... Поступай, сделай милость... Просит и все разные слова... Ты и ты, говорит... Дай, говорит, твое братское, дружеское слово... Ах, что за деликатный, что за сверхъестественный в обращении человек!.. И как он всю душевную политику, самую тончайшую, насквозь понимает прямо удивительно... Я, говорит, в тебе не одежду, не болезнь твою, я, говорит, дух в тебе жалею... Дух твой подавай мне, ибо он должен воспарить... Ах, что за человек!.. Но пейте, прошу покорно...

II.

В длинную и узкую комнату глядело заходящее солнце, и она вся была наполнена красноватой пылью. Пыль волновалась, как туман, и в этом странном свете все предметы приняли какой-то фантастический вид, какого днем не имели.

Белый какаду, дремавший у окна в старой поломанной куполообразной клетке, открыл круглые сонные глаза и, наклонивши голову набок, что-то тихо залепетал на своем варварском наречии.

Маленькая золотисто-рыжая белка с верхушки платяного шкапа ответила ему коротким хлипающим звуком и, спрыгнув на подоконник, уселась возле клетки и стала быстро перебирать на груди передними лапками.

— Выпейте, прошу покорно... А это — мои птенцы... Молчи ты, белоголовый... Ах, алкоголик, дурак... И ты, длиннохвостая!. А они у меня водку пьют, прошу покорно... Вот, какие...

Иван Ильич показал, как птица и белка пьют водку, и скормил им крошки сухаря, вымоченного в водке.

— Вот!

Он развел руками и засмеялся.

Женщина прикрыла рот рукой, чтобы скрыть недостаток двух передних зубов, и тоже засмеялась.

— Скажите!.. Птицы тоже свою склонность имеют!..

Субъект, похожий на беглого монаха, выпил рюмку водки, взял в рот ягодку моченой брусники и густо отрезал:

— Сказано: курица, и та пьет, и верно...

— Выпейте, прошу покорно... Мария Антоновна...

Артемий Филиппович...

Иван Ильич чокался с гостями, суетился и пил.

— Хоть и нехорошо безвинную тварь Божию спаивать, но приучил я их к вину — мой грех... Не могут они теперь без вина... Вот какие они у меня несчастненькие!.. Вот, я им еще дам... Что же это?.. Мария Антоновна... Артемий Филиппович... Прошу покорно... Пейте, пожалуйста...

Иван Ильич пил, и все ярче разгорались его глаза, и на лице его все сильнее выступало выражение какого-то мучительного, томящего счастия... Он вдруг весь перегнулся к гостям и, блеснув глазами, хихикнул и заерзал на стуле.

—А я ведь слово-то ему дал... Так и так, мол, говорю, ради тебя, ради доброты твоей, поступлю... Вот, придет осень, и кончено... Контракт — ничего не поделаешь... Десять лет не был на сцене, а ради тебя, единственного друга, говорю, и товарища, так и быть —поступаю... Жмет руку... Вижу, говорит, что ты настоящий, как есть, преданный мне друг и верный человек... Ценю, говорит, это и понимаю... И как бы вы думали — в карман двадцать пять рублей, как одну копейку... На, говорит, на подъем, молчи и помни... Ах, что за человек!.. Вот, только поправлюсь, и конечно... Уеду от вас. В разные российские города экспрессами... Театр, музыка, огни, публика... Вина, шампанеи там разные, филе-турбильоиы и всякие деликатессы... Ах, жизнь...

III.

Иван Ильич снова закашлялся, и теперь у него

долго шла горлом кровь черными запекшимися сгустками.

— Это у меня от печени, — задыхаясь, говорил он в перерывах. — Печень у меня больная... И кашель от печени... Печеночный... Это у меня сейчас...

Похожий на беглого монаха посмотрел на кровь и густо сказал:

— Печень и есть...

— Печень... печень... Я знаю... Это у меня живо... Вот, и шабаш... Только передохну...

Отдышавшись, Иван Ильич выпил с гостями еще по рюмке.

— Вот, поправлюсь и, наконец... Аминь... Не забыли меня еще... Н-нет... Помнят еще Ваню Аргамакова... А-ах, как любила меня эта самая публика — «Аргамакова подавай!» Выйду — грому подобно... Спереди, сзади, с боков — глаза. А что у меня разных сувенирчиков и других там женских деликатных пустяков было — перечесть нельзя. И от всего дух... жасмин там, резеда пахучая и все такое... Любили меня... Нужно правду сказать... Мне что... Мне это не обидно... Смеялись даже... «А ну, Ваня, подморгни!» — подморгну и словно ножом срезал... Сколько их, этих самых, в ногах у меня валялось... И — и... Мне что?.. Любите себе, Господь с вами!.. Не убудет меня с этого!.. Мне главное, чтобы талант соблюсти в целости... От Бога ведь мне талант... Он дал... Господи Иисусе!..

Иван Ильич в упоении закрыл глаза и некоторое время беззвучно шевелил губами, словно молился.

— Талант... Какой талант у меня был... Тень!.. Разве я тень?.. Я все могу... Я принца Датского в лучшем виде... Мне, если по совести говорить, сам Жмуров- Донской должен сапоги чистить... Ведь, я... Ах, Господи... «Офелия — ничтожество тебе имя!»... Или «Бедный

Йорик, ступай в монастырь!» Или еще: «Жить или не жить — подать колчан и стрелы!» Ведь все это я до тонкости понимаю и в разных лицах могу изобразить... Молчи...

Иван Ильич вдруг схватился со стула и затопал ногами.

— Молчи... алкоголик, дрянь, сумасшедший... Молчи...

IV.

Теперь орал пьяный попугай.

Охватив толстым клювом одну из жердочек, он спускался вниз и подымался вверх и все время смотрел на кого-то страшными глазами. И рвал жердочки.

Он был пьян и грезил.

В красноватом тумане ему мерещился враг, которого он смертельно ненавидел и с которым уже давно жаждал биться на жизнь и на смерть. Тысячи блестящих, как искры, пичужек носились кругом и ужасались, какой он страшный, сильный и смелый... И отвага кипела у него в груди, и перья на его хвосте стояли дыбом, и он грозил врагу этим хвостом и клювом, и глазами...

И опьяневшая белка тоже грезила.

Прикрывшись хвостом, как распущенным парусом, она молча, с безумной быстротою бросалась с подоконника на шкаф, со шкафа на этажерку, с этажерки на пол...

Ей казалось, что над ней шумят вершины гигантов-деревьев и сотни сородичей с зеленых веток глядят на нее, какая она молодая, пушистая, красивая. И

она делала вид, что ей душно, что она изнемогает от страшного запаха сосны, от света солнца, от птичьего свиста и гомона, от счастья, от свободы, от жизни... Ах, жизнь!..

— Гамлет, принц Датский... в атласном кафтане... Шпага на боку... весь театр, как один человек, не шелохнется... Весь дышит на тебя и глаз не сводит... Наполеон... Фигура!.. Ах, только поправлюсь, и конец... Ах, как хорошо иметь от Бога талант... Только до осени, и айда, марш в дорогу!.. Жмуров-Донской и я... Гамлет, принц Датский... Господи Иисусе, до чего мне хорошо!.. Не понимаю даже!..

У Ивана Ильича по лицу потекли слезы. Он закрывал и открывал глаза и то бросался умолять гостей пить, то кричал:

— Ниц, богомаз... и ты, женщина, ничтожество тебе имя — ниц!..

То падал в молитвенном экстазе на колени и говорил, говорил... Он говорил о великом таланте, данном ему Богом, о Гамлете, принце Датском, о необыкновенных женщинах, которые его любили, о безумных восторгах толпы, — говорил, что осенью, нынешней же осенью, только немного поправится печень, — все это опять к нему вернется, и друзья увидят его в венке, шествующим в храм славы, рядом с лучшим, благороднейшим из людей, Жмуровым-Донским, российским самородком...

Он кашлял, задыхался и говорил, говорил...

А попугай кричал, и белка продолжала носиться, как безумная...

_____

V.

Поздно ночью гости ушли.

В комнату смотрел серый рассвет, и красноватого тумана в ней уже не было.

Попугай спал на жердочке, и перья на его хохле лежали, и было видно, что это дряблый, изживший свои силы, ощипанный и жалкий попугай, от которого, быть может, краснея, отвернулись на его родине.

И белка была старая, некрасивая, с облысевшей и слежавшейся шерстью. И, вероятно, было уже недалеко время, когда их обоих должны будуть выбросить на задний двор в мусорную яму...

Старый актер тоже спал. Он лежал на боку, свернувшись в клубок, под тощим, сшитым из белых и черных лоскутов одеялом, в красноватом свете недавно казавшимся пышной мантией, подбитой горностаем.

Пары еще туманили ему голову, и крылья еще держали его во сне...

Он спал и грезил. Он видел камень, необыкновеннейший рубин — вулкан огнедышащий. Вулкан дышал ему прямо в рот, и от этого рот у него был полон жаркой крови, и она текла вниз по подушке, белью, и в ней липли его пальбы, сжатые судорожно в молитвенном экстазе...

СОБАКА ПРОФЕССОРА

Профессор часто с ней беседовал. Иногда, если это происходило в аудитории, разговор носил характер милостивой профессорской шутки, которая должна была вызвать улыбку у студентов. Но чаще, если это было в профессорской лаборатории, с глазу на глаз, профессор, человек старый и одинокий, говорил серьезно, по-старчески делясь с ней мыслями, как бы видя в ней ученого собрата.

— Итак, Румп, проделаем сегодня опыт, который докажет, что целые поколения врачей ошибались, полагая, что...

Румп слушал о поколениях врачей, которые ошибались, моргал глазами и ждал. Он знал, что вслед за речью профессор непременно положит его на стол, или поставит ему какую-нибудь клизму, или воткнет куда-нибудь иглу, или наденет на него маску... после чего с ним произойдет одно из обычных странных явлений, которых объяснить себе нельзя.

Румп, честный пес волчьей породы, давно уже служил науке и был любимым объектом профессорских опытов. И так как профессор был очень любознателен, то Румпу, в сущности, приходилось переносить на себе всю тяжесть экспериментальной медицины.

Это проявлялось в том, что он то целый месяц ходил забинтованный, с громадной опухолью на шее, выросшей за одну ночь, так что совестно было показываться студентам, то, как йоркширский боров, начинал непомерно толстеть, то временно терял зрение или слух, то у него отнимались вдруг ноги.

Профессору это было нужно. Румпу — нет.

Но он так привык к этим странностям в своей жизни, что оставался уже равнодушным и если б у него вдруг выросли рога или появился хобот, он бы тоже не удивился.

Но главное было не в этом; главное — наука не убила в нем ни одного инстинкта и он чувствовал себя самой обыкновенной собакой, а настоящая собачья жизнь проходила как-то вне его.

Иногда в окне он видел внизу город, великолепный фантастический город, который чернел людьми, шумел трамваями и автомобилями, гудел пароходными сиренами и заводскими гудками, и как всякой доброй собаке ему хотелось бежать обнюхиваться, иметь встречи, завязывать романы, видеть шумные обильные базары, за кем-то гнаться, вдыхать ноздрями воздух, в котором обилие запахов ничего не говорило людям, но ему раскрыло бы целые истории.

В молодые годы ему, разумеется, не так трудно было бы сломать деревянную клетку, но как-то выходило всегда так, что желание сделать это приходило как раз в такую пору, когда он лежал или без ног, или с трубкой в пищеводе и со вспоротым животом.

И таким образом, с несомненными зачатками серьезного научного образования, он вырос одиноким, не зная, в сущности, таких простых вещей, как сладость свободы и утехи любви.

В пятнадцать лет Румп был глубоким, ничего не испытавшим стариком, ибо пятнадцать собачьих лет приблизительно то же самое, что семьдесят пять человеческих.

Морда у его пасти успела не только поседеть, но и принять какой-то зеленоватый оттенок; он был безумно худ — ребра можно было пересчитать — весь в проплешинах, а один глаз, после одного интересного опы-

та, он так и не смог себе вернуть. И, одноглазый, худой, выгорбленный, с подагрической походкой, какой-то неживой, он наводил ужас.

Но для старого профессора он был тем же Румпом, тем же верным покорным помощником, самым лучшим и терпеливым слушателем в тихие лабораторные часы.

И однажды профессор, надев пенсне, сказал ему — и это вышло необыкновенно торжественно:

— Румп, судьба захотела, наконец, чтоб мы близко подошли к чуду, касающемуся одной из глубочайших тайн жизни — ее механики. Это чудо, Румп, должно произвести такой крутой переворот во всем, что жизнь в будущем рисуется мне как утопический вымысел романиста. Мне хотелось бы, чтобы вы хорошо меня поняли, Румп (во время бесед профессор всегда обращался к Румпу на «вы»), — человек по своей воле сможет растянуть свою жизнь на столетие, на два, может быть, на три — кто знает? Получив новый заряд жизненной энергии, скажем, теперь, в двадцатом столетии, он в двадцать втором для далеких поколений сможет явиться живым очевидцем великих потрясений, которые перенесло современное человечество. Вдумайтесь хорошенько, Румп — **живым очевидцем**.

И профессор засучил рукава, что для Румпа всегда было верным признаком, что сейчас будет стол, скальпель, клистирная трубка или игла.

— Да, Румп, кажется, мы нашли средство поднимммть энергию самого одряхлевшего организма. Мы будем возвращать молодость, как некогда Мефистофель сделал это с Фаустом. Сегодня кролики и свинки сказали мне. Вы же, Румп, мой благородный товарищ, стоящий на зоологической лестнице бесконечно выше, должны подтвердить это.

И, как Румп предвидел, он был немедленно повергнут на стол.

. . . . . .

Было раннее утро, когда случилось... чудо и Румп вдруг сделал то, чего не мог сделать за пятнадцать лет. Он сломал клетку одним наскоком, сбил с ног сторожа и спустя минуту, седой, со съеденными клыками, одноглазый, страшный, но полный таинственных сил, он был уже на широком просторе городских бульваров.

Профессор еще мирно спал, а Румп, его благородный товарищ, скрылся в только что начавшем просыпаться городе, чтоб, как добрый ученик и последователь, доказать неверующим правильность профессорской теории.

Неведомо где — история этого никогда не узнает — он скрывался три дня. А на третий он вернулся грязный, окровавленный, неузнаваемый, пахнущий всеми городскими лужами, с замутившимся от безумного утомления одиноким глазом.

Он вернулся, вполз в лабораторию, сел против профессора, который несколько опешил от изумления, и стал тихонько выть. Он выл не меньше часа.

Если б кто-нибудь знал собачий язык, то в переводе на человеческий его речь звучала бы приблизительно так:

— Многоуважаемый друг и профессор, ваша теория — великая теория и я сам перегрыз бы горло тому, кто стал бы с этим спорить. Но есть в ней одна страшная, непреодолимая точка. Я ничего не скажу про то, что когда ко мне так непонятно вернулись си-

лы, ни один мой седой волос, однако, не почернел, ни один съеденный пожелтевший клык не сделался белым и острым, как прежде. Это, увы, осталось. Не скажу и про то, что все женщины моего рода, обладающие, как известно, неплохим нюхом, несмотря на весь мой пыл, сейчас же угадывали во мне собачьего Мафусаила и гнали прочь. Ни одна не подпускала к себе. Меня кусали, валили с ног, все три дня я провалялся в придорожных канавах. Я внушал ужас, отвращение. Я как-то мельком увидел себя в луже: седой, беззубый, распаленный, я действительно был чудовищем... Было то же, как если б к вашим человеческим женщинам стал приставать вдруг Лазарь, воскресший из мертвых. Я и превратился в такого Лазаря, в монстра, которого надо показывать в цирках. Я потерял свое место в природе. Но главное не в этом, а во мне самом, в моей душе. Как примирить в ней два течения, которые яростно борются и друг друга уничтожают? Силы, которые вы внедрили в меня, побуждают меня бежать за каждой паршивой сучкой, которая вильнула хвостом, неистовствовать и грызться за нее до смерти. А мои старческие пятнадцать лет, мой глубокий старческий опыт, моя порядочность старой собаки, которая знает порядок в жизни, неустанно говорят мне, что я потерял право это делать, что я не смею бороться с соперниками, которые могли бы быть моими правнуками... Помимо того, мой ум, мои привычки, склонности, мысли, страхи, радости остались моего возраста, — а мои силы их не хотят знать. Мой возраст говорит мне, что вечером я должен дать отдых моим костям и лежать, как все старые собаки, в моей конуре, а мои проклятые силы не дают мне покоя, будоражат меня и вовлекают в авантюры, приличные только для годовалого щенка. Разве приятно торчать в

мире такой нелепостью и в пятнадцать лет быть посмешищем для всех? Я протестую, многоуважаемый друг и профессор.

Из всей его речи профессор ничего не понял. Но он слышал хриплый вой, видел взъерошенную шерсть и замутившийся одинокий глаз. И он надел пенсне и сказал с искренним чувством:

— Друг Румп, мне не хотелось бы огорчать вас, но, кажется, вы безрассудно воспользовались прекрасной молодостью, которую я вам вернул. Вы впали в неистовство, вы заболели бешенством. И последнее и лучшее, что я могу сделать для вас — это удалить вас из этого мира. Мужайтесь, друг...

И он стал засучивать рукава.

Румп, ученая собака, понял. И честный, как был всю жизнь, предпочитая смерть смешной жизни, он мужественно не тронулся с места и, готовясь к последнему в своей жизни эксперименту, покорно закрыл глаз...

ТУТАНКХАМОН

В небольшом обществе, где заговорили о спиритизме, вообще о загадочном, нашелся скептик.

— Меня всегда поражает одна вещь, — сказал он. — Если все, что рассказывают о спиритических явлениях — правда, я не могу понять, как этот человеческий дух, такой сложный, глубокий, ненасытный, пока он заключен в теле, делается таким скучным и бездарным, лишь только освободится от тела. Казалось бы, освобожденный дух должен обнаружить бесконечную мощь, проявить ничем не связанную уже волю как-нибудь очень крупно... Ведь обидно, если дух Ньютона, Галилея, Канта, Толстого в своем потустороннем существовании только и годен на то, чтобы, по желанию нескольких скучающих от безделья людей, являться по первому зову и проделывать ряд чудачеств и нелепостей, лишенных какого бы то ни было смысла. Кстати, никогда вам не приходил в голову вопрос, почему это все духи так похожи один на другого? Неужто загробная жизнь так старательно сглаживает в них все, что походило бы хоть на какую-нибудь оригинальность? Насколько я знаю, с тех пор, как они стали показываться живым, они только и проявляют свою сущность рядом одних и тех же пустейших и скучнейших фокусов вроде столоверчения, развязывания узлов, швыряния предметов и т. д.... И притом проделывают все далеко не с такой чистотой и ловкостью, как профессиональные фокусники. Мне кажется, что одно уже это вот убожество, узость, однообразие, эта бесцельность скоморошеских проделок должны бы многим открыть глаза...

Присутствовавший в обществе убежденный спирит обиделся.

— Однако, явлениями спиритизма интересовались далеко не одни скучающие люди, — сказал он. — Среди сторонников спиритизма я вам назову людей европейской известности, такие имена, как Бутлеров, Вагнер, Фламмарион.

— Что же из этого следует? — спокойно возразил скептик. — Ошибались большие люди и только. Большим людям это даже чаще свойственно, чем маленьким. Они более жадны в своих поисках, но зато и более искренне увлекаются, более доверчивы, в них больше экстаза — их легче обмануть. Наконец, раз мы прибегаем уже к авторитетам, я назову вам людей с не менее крупными именами, как Фарадей, Тиндаль, как Менделеев, которые научно исследовали спиритизм и пришли к заключению, что все пресловутые явления — сплошной обман, который удается только благодаря тому, что с одной стороны всячески пробуют проделать два-три незамысловатых фокуса, а с другой — напряженно ожидают чуда и теряют способность спокойно наблюдать и взвешивать.

— Хорошо... Пусть так. Но вот в течение последних восьми лет весь мир стоит перед загадкой. В 1922 году лорд Карнарвон открывает гробницу Тутанкхамона и, первым покорный таинственной предостерегающей надписи на гробнице, умирает сам Карнарвон, потом его жена, потом один за другим 12 человек, принимавших участие в раскопках. В январе нынешнего года умирает научный руководитель экспедиции, знаменитый Говард Картер, тот самый Картер, которого журналисты еще так недавно интервьюировали по поводу загадочности всех предыдущих смертей — смерти Рейта, Корветта, Лафлера, Ричарда Бетля — и кото-

рый в ответ, смеясь, и рассказал интересную легенду о «гробнице желтой птицы», однако, сам в нее не веря. Наконец, на днях, трагически погибает лорд Вестбюри, чуть ли не последний из участников. Думаете ли вы, что все эти смерти — только случайность и между ними и гробницей нет никакой связи?.. Вы должны согласиться, что тут уже человеческий дух не совсем зауряден...

— А причем тут человеческий дух? — улыбнулся скептик. — То есть дух, как вы это понимаете... Или вы думаете, что фараон, умерший 4 тысячелетия тому назад, действительно продолжает так заботиться о своем ненужном ему теле... Но от фараона, я согласен, осталось кое-что другое и думаю, что связь между гробницей и всем этим рядом жертв несомненно есть. Как бы это объяснить?..

Скептик задумался.

— Не знаю, правильно ли будет грубое сравнение с напетой граммофонной пластинкой? Что-то тут в этом роде ... Певец давно умер, он прочно похоронен, — это все знают, — а сила, очарование его голоса остались. Но оставим пока певца в покое. Не знаю, известно ли вам, что в гробнице, в ногах самой мумии фараона найден был еще мешочек с пшеничными зернами. Назначение его мне неизвестно. Не думаю, чтобы это был провиант на дорогу, вернее — это символ, потому что просвещенные египтяне, философы и поэты, любили объясняться символами. И вот кто-то взял эти зерна, бросил в взбороненную землю и — чудо — зерна дали всходы. Вдумайтесь в это хорошенько. Эти зерна лежали уже в мешочке, когда Саул преследовал Давида, когда Соломон строил свой храм, Иов, сидя на своем гноище, беседовал с Богом, родился Иисус и умер Иисус, родилась и погибла великая римская им-

перия, — зерна все лежали — ушли средние века с рыцарями, трубадурами, турнирами, с крестовыми походами и инквизицией, настали новые века, родился и отгремел Наполеон, диким смерчем через весь мир прошла революция, расшатались троны, попадали короны, новые государства возникли на месте старых и вот в 1922 году эти зерна, которые взошли на полях древнего Египта на заре человеческих дней, когда по повелению посланников Божьих еще моря расступались и солнце останавливалось на небе, — вдруг ожили на туманных полях где-то под серым Лондоном. И, может быть, вы сами приобщились к векам, если случайно — возможна же такая случайность — вам попался кусок хлеба из этих зерен...

По мне, если уже удивляться, то в этой силе жизни, сохранившейся после тысячелетий смерти, не меньше загадки, чем в силе смерти, которую сохранили камни гробницы... Что мы знаем про тайны — не говорю про загробные — а про наши, земные!..

Вам, вероятно, приходилось читать или слышать, что на каждой фараоновой гробнице в Египте приблизительно такая же надпись. Тутанкхамон совсем не исключение. Надпись: «Да похитит смерть того» или «проклятие тому, кто дотронется до моего тела» — стереотип для таких гробниц... Между тем, сколько их ни открывали, никто от этого не умирал. Загадочно только здесь ...

Я себе представляю фараона Тутанкхамона как описывают его папирусы, худым, темноликим, подверженным частым припадкам «священного неистовства». Если перевести это на наш язык, Тутанкхамон, вероятно, был эпилептиком. У эпилептиков тяжелый непереносимый взгляд и часто страшная воля. Магомет и Наполеон тоже были эпилептиками. К своему

официальному титулу «внук Озириса и Изиды» Тутанкхамон прибавлял — «живший в веках». Он считал, что жил от века и будет жить до скончания веков. Он был непреклонный, жестокий фараон. Угрюмый, нелюдимый, и удовольствия его были жестокие. Он брал черных танцовщиц-нубянок и заставлял их кружиться так стремительно, что «красноватые сосцы их грудей сливались в огненный пояс». И их уносили мертвыми. Он был насыщен злой волей. Писцы, которым он диктовал, при взгляде на него лишались рассудка.

Свою гробницу он стал строить за 14 лет до своей смерти. И 14 лет 50 000 рабов строили ее, не прерывая работы ни на один день. Фараон при этом присутствовал, он знал в своей гробнице каждую плиту. И из строителей ни один не остался в живых.

В последний год, чувствуя приближение смерти, Тутанкхамон обошел свою гробницу и изможденный уже, сохранивший живыми одни страшные глаза, он сообщил ей свою последнюю волю. Он вложил в нее всю мрачную страстность, все силы души. И камням передалась эта воля человека, как светочувствительной пластинке негатива передается отражение. Напрасно думать, что предметы так бездушны. Они берут от нас нашу теплоту, наши мысли, наши желанья и могут быть покорными передатчиками. Разве вы не слышали про людей, которые, взяв в руки вещь, которую вы носили, не только определяют ваш характер, ваши самые тайные склонности, — они воспроизводят перед вами вашу жизнь... Есть вещи, приносящие счастье и несчастье. Об этом говорят, знают, иногда даже пишут в газетной смеси, но это глубже газетной смеси... Теперь представьте, если вы взглядом, прикосновением сосредоточили на предмете силу воли, которая чудовищна.

И с полным сознанием того, что он делает, умирающий фараон начертал на своей гробнице: «Я, Тутанкхамон, сын Амона, внук Озириса и Изиды, живший в веках, говорю вам: на неслышных крыльях смерть приблизится к тому, кто коснется этой могилы»...

И как пшеничные зерна после 40 веков стали давать живые ростки, так человеческая воля, заключенная в камни, после 40 веков стала рассылать смерть... Разве это так невероятно?..

ПРИМЕЧАНИЯ

Писатель и журналист Максим Михайлович Асс, известный под псевдонимами «Михаил Раскатов» и «Лев Максим», родился в Петербурге в 1874 г. в еврейской семье и погиб в рижском гетто, очевидно, осенью-зимой 1941 г.

Сведений о ранних годах жизни М. Асса имеется мало; судя по замечаниям в очерках и рассказах, он учился в одной из петербургских гимназий и университете; затем, предположительно, рассорился с семьей и некоторое время странствовал по России, меняя профессии (в том числе работал в цирке).

М. Асс был заядлым игроком и в 1904 г. под псевд. «М. Михайлов» выпустил в Петербурге кн. «Игроки: (Клубные типы, сцены и картины)»; его очерки об игорных клубах и типах игроков заслужили позднее хвалебную оценку А. Куприна.

С середины 1900-х гг. и вплоть до революции под псевдонимами «Лев Максим», «М. Михайлов» и «Дигамма» публиковал рассказы и очерки в газетах (*Голос Сибири*) и многочисленных тонких иллюстрированных журналах Петербурга

(*Нева, Огонек, Журнал-копейка, Всемирная панорама, Солнце России, Искорки, Двадцатый век, Волны, Бич* и др.).
В 1909 г. под псевдонимом «Михаил Раскатов» опубликовал в рассчитанной на низовую аудиторию *Газете-копейке* «роман-быль» о благородном разбойнике «Антон Кречет». За ним последовали и другие романы о Кречете: «Из потока» (1910), «На чужбине» (1911), «На аванпостах» (1912), «Последний перегон» (1913), «В водовороте» (1914), «Орленок» (1917); выходившие в газете и отдельными книгами, они выдержали до революции немало переизданий, пользовались большой популярностью и экранизировались. В *Газете-копейке* опубликовал также приключенческие романы «В когтях дьявола» (1909), «Кладоискатели» (1910, отд. изд. 1911), «Злые чары» (1911), «Найденыш» (1912) и др. В 1917 г. вышел роман «Порванные цепи: (Из дней революции)» и сб. рассказов «Кошмары».
После 1918 г. М. Асс эмигрировал и в 1920 г. поселился в Риге. С 1923 г. – штатный сотрудник газ. *Сегодня* (Рига), где напечатал множество рассказов, фельетонов, очерков, путевых зарисовок; выпустил книгу рассказов «Когда в доме ребенок» (Рига, 1928). В 1935 г. вышел на пенсию. В 1941 г. находился на излечении в еврейской больнице «Бикур-Холим», откуда был отправлен нацистами в гетто.

Кошмары

Публикуется по кн.: «Кошмары: Рассказы М. Раскатова. I-ый выпуск» (Пг.: изд. С. Самойлова, 1917). Анонсированный в этом изд. II-й выпуск «Кошмаров» неизвестен и, вероятно, не выходил в связи с революционными событиями. Данная кн. возвращена читателям Александром Степановым.

С. 19. *...меделянка* – Собака исчезнувшей русской охотничьей породы меделян, воспетой А. Куприным, у которого была одна из последних собак этой породы; меделяны, близкие к

догам и молоссам, использовались для травли медведей.

Шаткие крылья

Впервые: *Огонек*, 1908, № 37, под псевд. М. Михайлов.

Собака профессора

Впервые: *Сегодня* (Рига), 1930, № 338, 7 декабря, под псевд. Лев Максим.

Тутанкхамон

Впервые: *Сегодня* (Рига), 1930, № 67, 8 марта, под псевд. Лев Максим.

В рассказе отразилась распространенная и раздутая прессой легенда о «проклятии Тутанхамона», возникшая после открытия гробницы египетского фараона 18-й династии Тутанхамона археологом Г. Картером и лордом Карнарвоном в 1922 г. (подробности ее читатель может почерпнуть в нашем трехтомнике «Рассказы о мумиях», 2015). Следует отметить, что Г. Картер, о смерти которого говорится в рассказе, умер лишь в 1939 г. от лимфомы.

_____

Все тексты публикуются по первоизданиям с исправлением очевидных опечаток, а также ряда устаревших особенностей орфографии и пунктуации.

Оглавление

КОШМАРЫ

Человек и собака 7

Девять пальцев 24

История одной пропажи 42

Месть 52

Тук-тук... 64

Шаткие крылья 72

Собака профессора 80

Тутанкхамон 86

Примечания 92

POLARIS

ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.